

Лариса МИРОНОВА

**НА АРФАХ
АНГЕЛЫ ИГРАЛИ**

Лариса Владимировна Миронова
Круговерть
Серия «На арфах ангелы играли», книга 3

Авторский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165763
Лариса Миронова На арфах ангелы играли: «Современник» ; Москва ; 2006
ISBN 5-89097-051-8

Аннотация

Книга повествует о сильных людях в экстремальных ситуациях. Разнообразие персонажей создает широкое полотно нашей жизни прошлого века и начала нынешнего. Несмотря на тяжелые испытания, герои, закалив характеры и укрепившись сердцем, всегда побеждают.

Содержание

ИВАН да МАРЬЯ	4
1	4
2	11
3	16
4	32
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Лариса Миронова

Круговерть

ИВАН да МАРЬЯ

Часть первая

1

– Паслухай, дачка мая, ти здалося? Быццам дед иде...

– Нет, бабушка, тебе показалось.

– Иде дед... Ти чуешь?

– Нет же никого, так что-то... половицы скрипнули.

– Забывацца стала, дачка мая. Памёр наш дед, памёр... Тры гадочки прайшло. Акраз на Паску памёр.

– Я вчера на могилку ходила. Там всё хорошо. Оградка цела. И памятник. Райсоюз поставил.

– А я туды и сходить не змагла. Ножаньки мае, ножаньки... У сыботу занедужыла. Уся хварэю. Цалкам... О-о-ох!

Старая женщина лежала на высоких подушках в цветастых наволочках. Тяжелое ватное одеяло с прошивками сползало на пол одним краем. Укрытая по пояс, она положила темно-коричневые от загара и работы руки вдоль тела, будто отдельно от себя, ни разу за весь вечер не пошевелив ими.

Алеся сидела рядом, легонько поглаживая пальцы умирающей. В крупных узлах, желтовато бледные суставы припухли, видно, боль в них заставляла Марию покусывать губы. Один раз она слабо застонала...

На ней была просторная блуза из неяркого, в мелкий горох ситца. Сквозь глубокий разрез рукава голубоватой белизной просвечивала кожа – от запястья до локтевого сгиба. Она была тонкой и прозрачной, с едва заметной россыпью солнечных веснушек. Кожа на щеках была такой же свежей и гладкой.

Алесю душили злые, горькие слезы обиды – почему, ну, почему Мария должна умирать? Кто издал такой несправедливый закон?

Она мечтала о тех временах, когда после окончания университета обзаведется своим жильем, а рядом обязательно будет церковь, и возьмет к себе Марию.

И сейчас все её мечты рядом с этим, всё ещё красивым, но безвозвратно отходящим телом рушились. Родненькая ты моя, – в глухой тоске звала она, поглаживая слабую руку Марии.

Мария лежала тихо и спокойно, погруженная в свои видения.

Алеся, по своей давней детской привычке подошла к большому развесистому фикусу – за ним, в красном углу, были иконы. Она опустилась на колени. Лик богоматери на старой иконе в простом жестяном окладе был изучен до каждой трещинки на потемневшей от времени краске. Алеся смотрела без смысла, без веры, с одним только тщетным желанием – воскресить в сердце ту надежду, которая возникала всегда, когда она в тайной молитве обращалась к небесной заступнице.

Икона была слабо освещена лампадкой, от этого глаза богоматери казались ещё печальнее. Скорбь в них была разлита так густо, что взор небесной царицы потемнел до непроницаемости, до омертвления и беспощадности.

Она быстро встала и отошла к окну. Мария не должна видеть её мокрых глаз.

Но умирающая смотрела перед собой и что она там видела, не мог знать никто.

Умирают, в конце концов, все, а всеобщему не должно быть сострадания – так учит философия. Но это общее знание сейчас не было даже слабым утешением в её конкретном, личном горе – Мария уходила от неё навсегда...

Туго накрахмаленная занавеска в затейливых узорах ришилье – когда-то они их, эти занавесочки вместе делали.

Слегка подсиненные тюлевые гардины пахли чистотой и свежестью цветущего сада. Мария каждую неделю всё перестирывала, в субботу мыла полы, перекладывала бельё в шкафах, чтобы не было моли. И, как раз после бани, вдруг почувствовала себя так плохо, что попросила соседей – у них был дома телефон – срочно позвонить внучке в Москву.

Мария лежала тихо и дышала ровно – наверное, спала. Алеся прошла в залу. Здесь также всё сияло чистотой и свежестью, и только на одном подоконнике, там, где была открыта форточка, лежал тонкий слой сероватой пыли.

Прижавшись горячим лбом к стеклу, она ковыряла потрескавшуюся и кое-где отошедшую от рамы замазку. Во дворе голодные куры растревожено кудахтали. Петух, изогнув спину, мелко семенил вдоль ворот, сильно припадая на левую ногу и опустив большое пестрое крыло до самой земли.

В хлеву возилась свинья, с подвизгом вхрюкивая, она пихала пустое корыто, суетливо скакали в клетках голодные кролики...

Куда всё это теперь? Кто здесь будет жить? Чужие люди?

От этих мыслей она вздрогнула и похолодела спиной. Нет, нельзя раскисать, надо пойти накормить скотину, приделать всю работу по дому, вести себя так, как будто ничего не случилось...

Приехала она вчера утром – длинно дзынгал звонок, несвязные объяснения соседки Фени, потом сильно дрожали руки...

Сборы недолгие, сумка всё время падала на пол, и вот уже поезд со свистком отошел от вокзала. Время неслось, но здесь оно словно остановилось. Покормив живность, Алеся вернулась в дом. Мария уже не спала.

– У няделю шэры трус падох... Скоря бульбу капать... морквы многа было. У подпол усё паскладать нада... Ти не? У горад возьмеш?

– Посмотрим, – ответила Алеся, снова чувствуя ужасный удушающий ком в горле.

Мария смотрела на внучку, и той казалось, что бабушка, как тогда, в далеком теперь уже детстве, угадывает все её тайные мысли.

Однажды, лет шесть ей тогда было, сбежали они с подружкой без спросу на речку, а когда шли домой, подруга ей и присоветовала: «Ты не говори бабуле, что с дебаркадера ныряли, а то нам влетит. Скажи – на луг ходили. Щавель есть». – «Так бабушка всё равно по глазам узнает, где я была», – ответила Алеся, безнадежно представляя себе, как она будет врать Марии про луг.

«А ты не смотри ей в глаза, а гляди прямо-прямо, – учила её опытная девочка. – Так ничего по глазам не узнают, я так всегда делаю». – «Она узнает», – ответила Алеся и побежала вприпрыжку вперед.

– Деука мая, ты дзе?

– Здесь, бабушка, здесь я, – ответила Алеся, в ужасе думая о том, что Мария может потерять зрение.

– Куды ж ты збегла? Хади сюды.

– Краса ты моя, бабулечка, – сказала она, присаживаясь рядом с изголовьем.

Но Мария уже снова задремала – у порога вечного покоя. Три глубоких морщины на лбу и мелкая сеточка у глаз – вот и все метины времени...

Мария повернула голову – на лицо упал солнечный луч. Из-под набухших тяжелых век блеснул ясный и скорый взгляд.

– На магилки хадила, добра... Як яны там? Пазарастала усё? Прыбрацца некаму.

– Что ты, бабушка, там всё хорошо. И чисто. И прибрано.

– Са Старага Сяла плямяница ходзить. И Сястра мая яблык на Спаса прыносила. Яна деука доброая, кольки дён на мяне згубила!

– Ну что ты говоришь! Они все тебя любят! Жила бы ты к ним поближе, так каждый день бы виделись. Или ко мне бы потом переехала, в церковь бы вместе ходили по воскресеньям.

– У церкву я с самай Паски не хажу, – сказала Мария, снова поворачивая голову.

– Из-за ног?

Мария промолчала. Затем ответила отстранённо, как кому-то совсем чужому:

– У скварэчнику жить – зямли не видать. Я ж не птушка какая... Только я не жалюся, ты у галаву не бяры...

– Я не про это! – вспыхнула Алеся.

– Старое – бярэмя для усих. А пляменицы у мяне усе добрыя, и сястра мая Ганна – добрая жанчына.

Мария – свою родню любила и всегда журила тех, кто жаловался на ближнего, – нельга ж можна так? Свая крывя усё-таки...

– Жизнь у тебя трудная была, устала ты. И мне очень хотелось, чтобы ты хоть на старости лет легко и спокойно пожила.

Алеся заплакала в голос, теперь уже не смея удерживать слез.

– На життё грэх жалицца. Што з таго? Гаворать – урэмя такое, ну и зраби так, штоб лучшэй было.

– Милая ты моя...

– Ня плач, дачка, слёзы усю тваю красу пазьядаюць. Урэмя заусёды адно. Як чалавек сам хужэй стане, так яму усё чорным здаецца.

Мария снова прикрыла глаза. На её лице, уже далеко от земных хлопот, снова мелькнула тревога. Она поднялась на локте и простым сильным голосом спросила:

– А Рыжанькаму малачка дала?

– Пил твой Рыжик молоко, пил, и колбаску ел, – не беспокойся, ответила Алеся обрадованно, ей стало казаться, что это хороший знак – болезнь отступила и бабушка выздоравливает.

Большой рыжий кот с треугольной белой метиной на лбу вскочил на кровать и уселся Марии на грудь, радостно мурлыча и нежно выпуская коготки.

– Иди, иди же! – попыталась его согнать Алеся, но кот вцепился в одеяло и уходить не спешил. – Бабушка, может, хочешь чего?

– Не, дачка мая. Ничога мне ня трэба.

Мария снова затихла. Глаза закрыты, и веки тихонько подрагивают. Алесе снова стало страшно.

– Ба! – позвала она, как когда-то в детстве. – Может, ноги растереть? Я привезла змеиный яд. А? Легче станет, вот увидишь!

Мария не отвечала. Лицо её постепенно приобретало какой-то странный оттенок. Полукружья век от бровей до ресниц, коротеньких и золотистых на свету, стали почти прозрачными. На них отчетливо проступила ветвистая бязь мелких лиловых прожилок.

Губы её вздрогнули и тихонько зашевелились – она что-то шептала, но что – не было слышно. Алеся наклонилась к самому её лицу.

Мария молилась, нутром произнося слова последней молитвы: «Прасти мне и моим деткам... и маим унукам... Дай им здароуя, а мне пайшли легкага канца...»

Теперь губы её, запекшиеся и сухие, двигались всё быстрее. Шёпот молитвенных слов становился всё неразборчивей. Руки, до сих пор бездвижно вытянутые вдоль тела, словно ожили, сминая и комкая лоскутное покрывало, наброшенное Алесей поверх одеяла.

– Ба! Я отвар тебе дам! – выкрикнула сдавленно Алеся, обнимая умирающую. – Ба! Ну, бабушечка!

Мария не отвечала. Горячие губы покрылись корочкой, на лбу выступили бусины пота.

Алеся взяла мягкую тряпицу, обмакнула её в миску с теплой водой и осторожно провела по желтоватым губам.

Мария затихла, почувствовав на губах влагу, и чуть-чуть приоткрыла глаза.

– Что? Что, ба? – тормошила её Алеся.

– Пить... Пить, дачка, дала б мне...

– Что? Чай? Отвар? Что ты хочешь?

– Салодкага глыток.

Когда Алеся устраивала бабушку на подушках повыше, чтобы не облить чаем, ей показалось, что Мария уже навечно прикреплена к постели – так тяжела она была. Чай, влитый в рот из чашки, темной струйкой потек обратно. На подушке появилось бурое пятно.

– Не глытаецца нияк. – пожаловалась она. – Тяпер кислага хочу. А што ни зьем, усе назад. Быццам нутро маё памерла...

Теперь она лежала так тихо, что было слышно, как цоклет пульс у самого виска. Алеся прижалась щекой к её лицу.

– Ты говори, говори! – просила она, обнимая и прижимая к себе уходящее тело.

– Франя, дачка мая старэйшая, царства ёй нябеснае, кали памирала, тожа усё пить прасила, а то просить – драникау, мамка, спяки... А спякла ёй драникау, и у рот узять не змагла... Так живот яе змучыу... А памёрла тиха... Прыношу ёй вутрам снеданне, а яна, галубачка, ужо и атыйшла.

Мария замолчала, губы её сомкнулись в тонкую полоску.

– Франя первая памерла, – снова начала рассказ она. – Да вайны тое ж было... А у вайну Федечку и Миколку лихаманка згубила... Як у балоте пасидели, кали ад немцау хавалися, так и занедужили хлопцы... Не, не... Ня так усё было... Памерли яны, кали паж немцам жыли... Пасля памерли, пасля... А Броня, матка твая. Живая засталася. Тольки життё яе тягчэй, чым пагибель лютая...

– Не надо, бабушка, про плохое, – попросила её Алеся.

– Ти ж то – плахое? – сказала Мария, приткрывая влажные ореховые глаза. – Ты паслухай, быццам музыка грае... И стомленнаясь ад яе такая, быццам стог сена зваришила. Чуешь? Ти здаецца мне?

– Музыка? Нет, не слышу. Всё тихо, ба! Ночь уже... Может, вспоминается что?

– И прауда, – сказала Мария. Нияк трызница мне. Вочы закрою, и я у лузе, што за маткинай хатай... Жде мяне пакойница. Скоря пабачымся... Чуешь? Заве мяне... У сне кались такое бачыла... Быццам пасылае мяне матка тяленка пасвить, а я ж, деука тады была, дужа спать хочу... Увечары деуки-хлопцы збираюцца, песни спяваюць, гамоняць да вутра. Не скоро разыдуцца... И мне ж пагуляць ахота... А мяне ужо за Ивана аддали... Не, не у маткинай хате эта было... У свякрухи... Ивану было тады сямнаццать, а мне – двадцать гадкоу... Я ужо деука видная к таму часу сделалася... А ён – якаясь зайчынё... Потым, прауда, вырауныся... Пад вянцом я у слезы... Яго писарчуком у сяле звали... дед яго и батька

шибка граматныя были, казали, батька у волости писарам служу... Адин на усё сяло грамате знау...

Мария замолчала и долго смотрела молча на картину в бронзовой раме, что висела на стенке между окнами. Потом продолжила.

– Да. Тое ж у свякрухи было, не у маткиной хате... Дык пасылае яна мяне тядлё пасвить, я иду, а вочы слипаюцца... И заснула я, только день занялся... Сил маих зусим ня стала... Жывела ходить у лузе, а мяне сонейка змарыла, ниякага спасу няма... Прылягла я у канауку и вочы сами сабой закрылися... Ляжу и слухаю... Музыка трызницца такая красивая... Быццам гусли играют... И пад тую музыку матка мая выйшла на ганак и выкликае мяне – иди, дачка, да хаты! А я и кажу ёй – матка мая любая, як жа я свякрухина тядля у лузе кину? Прыбье мяне свякруха! И тут на небе хмара зьявилася... Вяликая такая. На усё неба... Так холодна стала адразу... Я вочы адкрыла, бачу. Вакол мяне пастухи стаять, рагочуть, нячыстая сила... А тядлё маё збегла кудысь... Што ты тут будешь рабить? Ни вокам не вижу, ни слыхам не чую... Узышла на горку, стаю, а у сяло ити баюся... И тут наш сусед, дед Панас, иде... Чаго равеш, деука? Ти не тваё тядлё ля крыницы пасвицца? Пабегла туды и знайшла яго, тяленка свякрухина... Дрыжить баками, холодна яму, страшна... Ганю жывелу дамой. А свякруха ужо на ганку мяне выглядае... Лупила яна мяне страх... Матачка ж ты мая... Уся спиначка балела страшна... Чуеш, ти ж то гусли грають? А, деука мая, ты чуешь?

Хоронить Марию пришли из Старого Села всей роднёй. Ганну, сестру Марии, Алеся давно не видела, но узнала сразу. Лицом такая же, только глаза синие, как водица в речке Сож, и телом скудная, может, от возраста...

После похорон поехали в Старое Село, к двоюродной бабушке Алеси, на хозяйстве осталась Ганнина младшая дочь. Что делать с домом, пока не решили.

езжала Алеся в Москву утренней моторкой. Перед отъездом Ганна сказала, вытирая слезу краем фартука:

– Уже привыкла к тебе, девка, хоть бы неденьку ещё пожила.

– Надо ехать, но я ещё приеду. Теперь часто буду приезжать, – пообещала он, тоже не сдерживая слез.

– Вот тебе наследство от Марии, – сказала она, протягивая Алесе перстенёк. – Он её от Василисы достался. Так и передают его от бабы к бабе...

– Спасибо, милая ты моя, – ещё горше заплакала Алеся, снова вспомнив Марию и со всем отчаянием осознав. Что уже никогда больше её не увидит.

– Ну, пора идти. Моторка у нас долго не стит. Слышишь гудок? Подходит.

День будний, народу в город ехало немного.

На верхней палубе было неуютно и промозгло. Сырая темь позднего осеннего рассвета будила тревожные воспоминания. Однако Алеся всё же вышла из душного и тесного салона и встала у борта. Мутные волны гребешками бурунов расходились во все стороны веером, убегая и истаивая на бегу, к едва приметным в предрассветной мгле низким берегам порядком обмелевшей реки.

– Ещё два-три сезона – и судоходство прекратится, – сказал кто-то за её спиной, и она тихо ответила – «точно».

– Вот и замкнулась ещё одна мировая линия жизни...

– Вы это мне? – рассеянно спросила она, не оборачиваясь.

Ей не ответили, и она подумала, что эти слова ей только послышались.

Она стояла у борта и до рези в глазах смотрела в кипящую пену волны. Когда она последний раз целовала лицо Марии, ей стало казаться, что всё живое внутри неё начинает медленно умирать. Мария жила в ней ежечасно, даже когда она не думала о ней, не вспоминала. А теперь всё это стремительно покидало её.

Так прошёл день, ещё день, и ещё несколько дней. Но вот, прснувшись однажды утром в счетлом и чистом домике Ганны, она вдруг ощутила, что в душе её уже нет того тяжелого чувства умирания и потери, которое угнетало её все последние дни, она ощущала, что снова живет, и даже в чем-то стала сильнее и лучше. Её больше не раздражали пустяки, от которых она ещё неделю назад просто бы взбесилась, её мысли о будущем больше не казались ей смутными и тягостными. Она вдруг с удивлением и радостью почувствовала себя свободной от постылого плена пустой суеты.

Откуда-то взялась вера, что действительно всё «перемелется и образуется»...

Огорчало лишь одно – никогда уже больше с ней рядом не будет Марии.

И никогда не будет...

– Не помешаю? – вновь послышался голос за её спиной.

– Вы это мне?

Она обернулась и вздрогнула. Совсем близко от неё стоял средних лет мужчина, его серое двубортное пальто было наглухо застегнуто, воротник был высоко поднят. Кепка, надвинутая на самые глаза, смешно прижимала уши.

– Вот... Вышел покурить. Холод собачий. Бр-ррр... Он зябко поежился.

– Да, не жарко, – вежливо ответила она, втайне радуясь, что и ещё кому-то пришла в голову блажь выйти на волю в такую стыдь.

– А интересно, хоть одна звездочка видна? – спросил он, проследив её взгляд.

– Вега вон там...

– В созвездии Лиры? Это она?

– Возможно. Я не уверена. Очки в сумке, внизу. Плохо видно.

– Вега – звезда осенне-летнего треугольника. Её в этих широтах можно видеть только вечером.

– Мне это не мешает, – сказала она и отвернулась.

– Как это?

– А никак.

– Ну ладно. А вы опять в Москву?

– Информированы? – сказала Алеся, поворачиваясь к незнакомцу.

– На всех московских есть особый отпечаток, – засмеялся он. – Так вы не ответили.

– Раз это для вас жизненно необходимо, то, пожалуйста. Сообщаю. Еду в названном вами направлении, но немного севернее.

– Что? Путешествие? Времечко не очень.

– В некотором роде. А вы что тут делаете? Вы же не местный.

– У меня отпуск.

– Времечко не очень.

Он снова рассмеялся. Она тревожно прислушалась – что-то очень знакомое было в звуке его голоса.

– А чем тешите себя в трудовые будни, если это не секрет, конечно? – тихо спросила она.

– Секрет, но вам откроюсь.

– Я польщена.

– Живу я в ма-а-аленьком городке и работаю в ба-а-альшом НИИ.

– Ну и.? Конкретнее – сфера ваших интересов?

– Гражданские лайнеры.

Она отвернулась и снова стала смотреть на воду – пенный гребень вздымался почти до самого борта.

– Я тоже когда-то хотела придумать что-то вроде самолета. Устройство, которое будет летать без мотора. Ну, такого крылатого...

– Сапфира?

– Сенька!?

– Ты – дурак. Я угадал ваши мысли?

– Нет, неправильный ответ.

– А как же будет верно?

– Что эта вот пена за бортом – вовсе не пена...

– А косы царицы-русалочки? Которая плывет за нами? Так? Так, по глазам вижу. И я в это – верю.

– Да неужели?

– Чтоб мне сдохнуть. Алеся счастливо рассмеялась.

В это время раздался гудок и моторка резко остановилась.

– Опять на мель сели, – сообщил матрос, пробегая с багром на корму. – А вы шли бы в салон, сырость, да и мешать будете, – сказал он пассажирам у борта. – Глянь-ка, рыбина какая, хвостом так и бьет! – крикнул он, обращаясь к другому матросу. – Эх, жалко, не успел загарпунить.

2

На свекрухином подворье жила Мария вдовою при живом муже. Через месяц после свадьбы Иван подался в Гомель – сельскому грамотею не сиделось на крестьянском подворье. Иван и Мария были и до свадьбы не чужими друг другу. Бывало на селе, что женились между собой и сродники. Отец Ивана, волостной писарь, вел свой род от московских греков, был выслан из Москвы, осел в тихом месте и жил уже незаметно и скромно, однако, усердно обучая сына грамоте и всему тому, что сам знал. Знался больше с Василисой, с которой был однофамильцем и даже вроде состоял в родстве. Потом женился, имел семеро детей, жил не бедно и умер в глубокой старости, оставив после себя младшему, Ивану два мешка старинных книг.

Отъезду Ивана в город отец и мать не перечили, в семье были и другие мужчины. Домой Иван приезжал на праздники, но через два года такой жизни вдруг передумал и вернулся домой. Был обычный будний день, его не ждали...

Худющий, ребра наперечет, молчал день молчуном, к вечеру стал в себя приходить, но с Марией – за весь день ни слова! Потом стал работать в сельской конторе – бумаги переписывал.

...Бабку Василису, маму Марии, Алеся хорошо помнила. Умерла она, когда Алесе уже было шесть лет. По-настоящему, Матерью Алеси была Мария, а Василиса – бабушкой. Настоящая бабка-калябка из волшебной сказки – мелко семенила босыми узкими стопами по пыльной дороге, шла пешком из Старого Села в город Ветку. Домой, в село, Алеся ходила её провожать, едва поспевая за шустрой старушкой, до переправы. Сколько ей лет – никто точно не знал. Знали только, что много...

Иван и Мария переехали в местечко под удивительным названием – Ветка, и когда Алесю привезли туда родители, она подумала, что живут в этом городке люди-птицы...

Один раз, в бане, она прямо спросила у Марии, куда люди прячут крылья? Днем, на улице, под одеждой, это ясно, а вот здесь, в бане? Мария рассмеялась и ничего не ответила.

После революции Иван поменял фамилию – оставаться однофамильцем самодержца было ни к чему.

Тогда многие меняли фамилии – это разрешалось, но чаще меняли на еврейские, так было модно.

У Ивана же была другая причина, и он изменил всего одну буквицу – «н» на «ш».

Его назначили на работу в райпотребсоюз. Там он и работал всю свою жизнь, если не считать военной службы. Должность председателя была выборной, и вот однажды прошел слух, что Ивана не переизберут. Но слух остался слухом, и председателем вновь был избран он. Потом уже Мария узнала, что Ивана обвинили в краже шапки. Обвинение было столь абсурдно, что во всей Ветке не нашлось такого горлапана, который бы эту новость взялся публично обсуждать.

Квартиру им дали казенную, как раз напротив почты. Две комнатки и кухня с простой деревенской печкой. Вторую половину дома заняла семья товароведа из райпотребсоюза. Сарай был общий – там держали козу Розу и корову Палашку. Алесе доставалось и от козы, и от коровы. Роза была козой товароведа и считала себя настоящей хозяйкой двора. Она выслеживала Алесю и, как только скрипнет калитка, гналась за ней до самой двери в сени. Доски были сплошь истыканы острыми рогами въедливой козы. Хочет Алеся крикнуть, бабушку на помощь позвать, а коза своими острыми рогами слова в глотку обратно вбивает...

Когда Роза вколачивала свои рога в дубовые доски двери, появлялась соседка и вызволяла козу. Та жалобно мекала, будто не сама только что чуть не сжила со свету несчастную

девчонку, а её, козу, нещадно мучили. Соседка давала ей корку, приговаривала так громко, что было слышно на весь двор: «Пападзись ты мне, паненка траклятая! Тут тебе и капцы!»

Сидорова коза с готовностью согласно отвечала – и я помогу, помогу обязательно, ммнее ли не помочь, ммееее...

Между собой, однако, Палашка и Роза вполне ладили.

Когда же рядом была Мария, Алеся поднимала вопёж – ба, пусть Розу уведут! Мария брала хворостину и с криком – ах ты, злыдень! – прогоняла козу, а та, на прощанье зыркнув в их сторону злым желтым глазом, уходила прочь со двора, но задание на завтра было вполне очевидно – месть, месть и ещё раз месть!

Однажды Мария засекла Розу за этим разбойным делом. Коза как раз наострилась погнаться за девочкой и уже нетерпеливо сгибала коленку, как бегун перед высоким стартом, но Мария опередила её. Схватив палку, которой задвигали на ночь ворота, она погнала козу, приговаривая для остраски: «Лихаманка тябе забяры, чаго дитё чапаеш, луплены ты бок?»

Тут Роза продемонстрировала недюжинный интеллект и верх лицемерия, уткнувшись отвислыми, розовыми губами в подол гонительницы и нежно при этом подмекивая – дескать, я тут вообще ни при чем! Просто шла по своим делам, и вот...

Эдакой паинькой и поплелась, нога за ногу, в общий сарай. Дескать, и в ум не брала обижать каких-то там пришлых девчонок!

Алесю привезли в дом Марии, когда ей исполнилось два с половиной года. Маленькая, сухонькая старушка с очень умными и живыми глазками, Василиса, сидела на низкой скамеечке у печки и чистила пузатую, всю в буграх, картошку.

Мария сбивала масло в маслобойке.

Когда они вошли в дом, никто не встал, не поспешил на встречу – все сидели на своих обычных местах и молча смотрели на гостей. Девочку поставили на пол, сняли большой платок, которым она была обвязана поперех шубки под мышками, и, указав на обеих женщин, сказали:

– Теперь это твои бабушки! Будешь с ними жить – пока.

Кто нес её на руках – Алеся не могла вспомнить. Даже не могла вспомнить, кто это был – мужчина или женщина. Человек, что-то нашептал на ухо Марии, передал куль с вещами и, наскоро попрощавшись, ушел.

На кухне мягко пахло чем-то таинственным и душистым. Потом уже Алеся узнала, что так пахнет вереск и мятная полынь. Чудесный запах исходил от больших связок травы, которые висели под самым потолком над печкой, и от него было немного щекотно в носу. А ещё по утрам пахло чем-то острым и нестерпимо аппетитным. Это был запах свежего черного хлеба, испеченного на поду в печи.

Там, на далекой сказочной Вологодчине, не пекли черного хлеба, его брали в магазине, зато чуть не каждый день пекли большие, в противень, пироги – с клюквой и сладким творогом. Тесто ставили на ночь, а пироги садились в печь в пять утра, саму же печку затапливали в три ночи. Алеся любила просыпаться на рассвете, на теплой уже печке, от сладкого и дурманного запаха этих огромных вкусных пирогов.

Здесь всё было не так. И соленых волнушек в молоке здесь не едали ложками из мисок. Когда Алеся попросила дать ей такую еду, Мария даже не поняла, что она просит. Разве солят грибы в молоке? Пришлось объяснять, что молоко в миску наливают, а грибы берут из бочки, а бочка должна стоять на веранде, а здесь и веранды нет, и бочки стоят в погребе. Но не с грибами, а с невкусными и очень солеными огурцами, от которых щиплет губы...

И ещё больше удивило Алеся, что «на двор» здесь ходят куда-то за сарай, в отдельный маленький домик, который закрывается снаружи на вертушку, а внутри – на крючок, а не в специальную комнатку в проходных сенях между летней и зимней частями дома, как у вологодской бабушки Татьяны.

И хотя здесь всё-всё было не так, и говорили эти люди на каком-то ином языке, не всегда ей понятном, но вскоре Алеся нашла много такого, что заглушило её тоску и полностью захватило воображение. И она уже не так остро тосковала о вологодской бабушке Татьяне и её большом, просторном доме с развесистым кустом каринки во дворе – здесь тоже была жизнь, и тоже очень интересная.

Василиса ночевать не оставалась, уходила, иногда затемно, в своё село. Но утром, на самой зорьке, она снова приходила к дочке, усаживалась на свою излюбленную скамеечку у печки и чистила картошку, перебирала траву или штопала чулок. Мария же копалась в огороде или возилась в хлеву, а потом, когда работа была приделана, они садились к самовару и пили чай из стаканов с маленькими острыми кусочками колотого сахара и серой булкой под названием «сайка». После чая, посидев ещё немного на своей скамеечке и неспешно погутарив с дочкой о том о сём, Василиса начинала собираться, перед выходом из дома долго кланяясь на образа.

Однажды, когда Алесе уже исполнилось четыре, она попросила свою старшую бабушку:

– Василисынька, можно тебя проводить до речки?

– А дорогу назад найдешь? – спросила старушка, прищуривая на девочку свои острые молодые глаза под крутыми изломами темных бровок.

– Найду! Найду! – радостно кричала та, – мы всей улицей бегаем к речке каждый день!

– Куды, куды? – строго переспросила Мария.

– Да так...

Алеся поняла, что сболтнула лишнее, и быстро побежала из дома.

Так и шли они вдвоем, рука в руке, до самой переправы – маленькая сухонькая старушка с лицом веселой девочки и острыми молодыми глазками под бровками с изящным изломом и строгая внучка-малолетка с печальным взглядом старушки...

В Старом Селе про Василису говорили, что она знает...

Последний раз пришла она к Марии, когда девочке шел шестой год. Вечером, прощаясь, она сама позвала Алесю и сказала:

– Хочешь провожать меня? Ножки что-то нейдут.

– Идзи, деука. Трохи праводишь и вернешся, – поддакнула и Мария, которая всегда с большой неохотой отпускала Алесю к реке. – Ти дойдеш сама ад пераправы? – как-то по-особому внимательно и с тревогой спросила она у Василисы.

Василиса улыбнулась и кивнула головой, только улыбка получилась какой-то вымученной и жалкой.

Алеся живо набросила кофтейку и побежала во двор, пока бабушки не передумали. До переправы шли километра два. Алеся, прижимаясь плечом в черной плюшевой жакетке старушки, спрашивала:

– Василисынька, а тебе не жарко? Зачем ты ходишь летом в кротовке?

– Малое старому не указ, – сказала Василиса со своим обычным веселым смешком. – Это кто ж тебя так со старшими разговаривать научил? Ти не бабка твоя Вологодская?

Алеся чмокнула кротовку – в засаленный изгиб на рукаве.

– А что, я сама не могу видеть? – сказала она и ещё раз поцеловала Василису – в щеку.

– Шибко грамотная, дочка моя, вот про хусей мне рассказали. Дети не могут так говорить со старшими, поняла, малая?

– Так они смеялись, и никто на меня не обиделся.

– Это потому, что любят тебя. Вот и смеялись, а могли бы и плеткой угостить.

«Хуси» – это гуси. Здесь говорят мягко – «х» во всех словах, кроме трех – ганак, гузик и гвалт. Алеся это правило уже знала твердо.

Ганак и гузик – это крыльцо и пуговица, это Алеся тоже знала.

– А что такое гвалт? – спросила она у Василисы. – А то бабушка Мария часто это слово говорит, когда мы под окнами с ребятами бегаем.

– Вот оно и есть – гвалт, когда вы под окнами бегаєте и кричите. А дедушка с работы пришёл и отдохнуть хочет. Нехорошо, детка.

– А почему ты, Василисушка, на другом языке говоришь, а не на ветковском?

– Потому что я тоже не местная, как и ты.

Мария тогда взяла маленькую Алесю на руки и сказала, показывая на гусей:

– Глядзи, якия хуси тлустыя да белыя! Вясной хусянят прывядуть.

– Бабушка, надо говорить гуси, а не хуси, это не правильно ты говоришь.

– Гэта няхай у вас у Волагде гуси будуць, а у нас, у Ветцы, и хуси добра казать. Дети старэйшым не указ. Хоть и дужа вумная деука, а усё ж дитё. Зразумела?

Так выговаривала ей Мария, строго грозя большим пальцем с коротко остриженным ногтем, однако никогда её не наказывала и даже не сильно ругала за разные шалости.

От речки потянуло ветерком. Алеся снова погладила рукав Василисиной жакетки.

– Не сердись, Василисынька, вспотеешь, простудишься, кашлять станешь. Я за тебя боюсь.

– А ты свою телятинку носишь, ну ту, Вологодскую?

– Ношу. Только зимой. Она уже совсем короткая стала. Как тебе кротовка. – Алеся снова вспомнила вологодскую бабушку и подумала, что теперь уже никогда её не увидит, хотела заплакать, но сдержалась, обняла Василису и спросила голосом жалобным и слабым: – А когда холодно станет, ты к нам будешь ходить?

– Зимой по снегу трудно идти. Да и речка ещё долго не встанет.

– Я буду скучать, – прошептала Алеся и на этот раз, уже не сдерживаясь, в голос заплакала.

Василиса смотрела спокойно, с улыбкой и гладила девочку по льняным волосам. Глаза её сделались влажными.

– Ты уже с меня ростом почти.

– Ещё не с тебя, а с твою хусточку, как раз до самого кончика.

– Ты вверх растешь, а я – в землю, – сказала она, засмеявшись, и поцеловала девочку. Тысячи маленьких серебряных колокольчиков ответили слабым эхом.

Подошел паром, на берег сошли две лошади в упряжках и хозяйка с теленком. На другой берег народу было немного. Однако девочка не отпускала веселую старушку.

– Василисынька! Ну, Василёк! Давай чуть-чуть посидим, а то ты устала сильно. Катер во-о-он где! Ещё долго будет разворачиваться.

– Отдыхать потом будет. Жизнь кончается, хватит уже землю топтать. И другим место дать надо.

– Василиса, ты злая! – заплакала девочка. – Зачем ты это говоришь? Я хочу, чтобы ты была всегда!

Мария говорила с Иваном про Василисину болезнь – на спачын тягне...

– Всегда никто не бывает. Когда-нибудь все умрут.

– А зачем ты. Василёк, так много работаешь? Сидела бы и отдыхала, тогда бы твои ножки не болели. Приходи к нам зимой и лежи, пока холода, на печке. А? Ну, скажи, ты придешь?

От кротовки пахло лугом и ещё чем-то новым – незнакомым, пугающим.

– Малое ты дитя, неразумное, – говорила Василиса, и глаза её часто замигали.

– Василисушка, так не честно. Ты мне обещала...

– Обещалку-цацалку три года ждут.

– Нет! Нет! Ты обещала! Да, обещала! Ты не должна обманывать! Ты же древлерусская бабушка! Обещала рассказать про старо-древние времена, и ничего-ничего не рассказала! Тебе же сто лет? Да?

– И четыре года, а може, сорок четыре. Я давно свой век не учить в а ю.

Василиса улыбнулась и снова сыпанула веселых серебряных колокольчиков.

– Ну, пожалуйста! Расскажи! – просила девочка.

– Так я уже всё забыла.

– Василисынька, я хочу уже давно спросить – почему про тебя говорят, что ты всё знаешь?

– Не всё знаю, а просто – знаю.

– Про что – знаешь?

– Про кое-что. Так про знахарей говорят.

– А ты знахарь?

– Знахарка.

– Тогда ты все знаешь, не обманывай!

Алеся обхватила голову Василисы руками и приблизила смеющееся хитрое лицо к себе – в лукавых глазах стали видны даже мелкие крапинки на радужке.

Колокольчики на этот раз звенели особенно долго.

– Я обижусь на тебя, если сейчас же не скажешь.

– Просто я травы разные знаю и все тропки в лесу. Хочешь я тебе песню старинную спою?

– Спой, спой поскорее!

Паром уже отходил и разворачивался вверх по течению, Алеся бежала по берегу, а голос Василисы летел над водой, постепенно замирая вдали многократным эхом.

«В сластолюбии которых – тех почтили все,
На седалищах первыми учинили,
А собор нищих возненавидели...
Лихоимцы все грады содержат,
Немилосердные – в городах первые,
На местах злых приставники...»

Больше Алеся не ходила к парому провожать Василису. Напрасно стояла она у причала и ждала, вот-вот сойдет с парома маленькая старушка в плюшевой кротовке и засмеется веселым серебряным смехом...

3

Незаметно пришел ноябрь, и мелкая надоедливая морось без устали барабанила по закрытым ещё засветло ставням. Как-то вечером, когда уже двор был закрыт, и все сидели дома, глухо лязгнула клямка на калитке.

– Иван! Квортку адкрый! – крикнула Мария мужу, который в зале читал газеты. – Хтось иде.

Она возилась на кухне с большим, начищенным до блеска самоваром, подсыпая в него угли и подкачивая воздух сапогом. Однако самовар никак не разгорался, даже сухие щепки не помогли. Коротко прогорев, они погасли, оставив в помещении запах смолистого дыма и копоти.

Лицо Марии сделалось бурым от натуги, испачканный сажей лоб сплошь покрывали мелкие бисеринки пота. Белая хустка сползла на затылок и грозилась вот-вот упасть и открыть всему свету красивые волнистые волосы Марии, скрепленные на затылке коричневым гребешком.

– Иван, ти ты йдешь?

Стучали всё настойчивее – ту-тук-так! Ту-тук-так!

– Иду, иду... – ответил муж и, надев калоши, вышел в сени. Он ещё долго не мог открыть дверь – то ли дерево от сырости разбухло, то ли крючок никак не выходил из кольца, но он не сразу ответил пришельцу, стоя ещё какое-то время на крыльце.

– Тьфу ты, госпади! Не адарвецца нияк! – ругалась ему вслед Мария. – Што у той газетине пишуць такое, что й чалавека не бачыш зза яе? Чаго не адкрывашь, а, Иван? – крикнула она в сени.

Алеся лежала на печке, на теплых кирпичках, под боком у неё примостился Дым, любимый бабушкин кот. Оба за день намёрзлись и сейчас их дружно сморило в тепле.

Последняя послелетняя красота отходила, уступая место яркой, чудной, пахнущей пряными вкусными запахами осени.

На перекладине над полатами висели связки ровного и круглого, ядреного лука. Терпкий запах, исходивший от него, напоминал об ушедшем лете и теплой молодой осени, когда от начала сентября до самого рождества богородицы можно бегать по улице босиком. Кое-кто из ребятни бегал босиком и до снега, но Алеся этого не разрешалось делать. Эта ранняя осень была особенно вкусной и доброй – в огороде у Марии было полно ещё незрелых, чуть буроватых помидоров, их со – бирали, боясь измороси и ночных заморозков, а те же, что уже успели покраснеть, продолжали висеть на кустах, наливаясь густым сладковатым соком осени и приобретая чудесный красно-золотистый цвет. В коричневых мочалах дозревала кукуруза, сладкие бураки наполовину торчали из земли и обещали быть очень сладкими в соленом винегрете – именно их Алеся всегда выедала из тарелки первыми, потом уже соленые огурцы с морковью, а лук осторожно отодвигала на самый краешек плоской эмалированной миски. Эти сладкие бураки можно даже сырыми грызть, когда долго не покупают конфет, а сахар в кусках наперечет.

В сенях стояли ящики душистой антоновки – и уже за одно это молодую осень можно было любить бесконечно и жаловать. Алеся улыбалась сквозь сладкую дрему...

Снова призывно звякнула клямка, и во дворе громко заговорили. Алеся по голосу узнала – пришел бабушкин племянник, а с ним ещё кто-то, кажется, сын.

Мария, выпрямившись в струнку, прислушалась.

Гамоняць пад даждем. Ти то нельга у хату увайсти? Она оставила самовар и как была – с перепачканным лицом и черными от угольев руками – вышла вслед за Иваном на двор.

– Дым ты мой, Дымулечка! – ласкала кота Алеся. – Скоро чай поспеет, я его буду пить из блюдечка с грибочками, а ложечкой с узорчиком – есть варенье из вазочки. А тебе, такому хорошему коту, молочка в мисочку нальют. И будешь есть своим розовым язычком – лак-лак! И потом снова залезем с тобой на печку, и будут нам сниться веселые сны – тебе про мышку, а мне – про ...

Тут она задумалась – про что бы такое загадать себе сон. Хотелось всего сразу, и она никак не могла сделать выбор. Тогда она обратилась к третьейскому судье – коту Дыму.

– Дымуля, а что бы такое мне во сне присниться?

– Вау-у-у! Вау-у-у! – пропел кот, показывая большую розовую пасть в сладком, до самых ушей, зевке.

– А, поняла! Спасибо тебе, Котя! Пусть мне Василисынька приснится, я уже сто лет её не видела. А ты, Дымуля, не ешь мышку, когда она тебе приснится. Только поиграй с ней немножко и отпусти до – мой. Пусть себе скребутся ночью мышки, мне от этого не так страшно в темноте. А я тебе кусочек сала дам.

Алеся прижала к себе Дыма, и тот яростно замурлыкал, сладко впиваясь коготками в её худенькую руку.

– Дымулечка! Ты не думай, мне не очень больно, но лучше бы ты не царапался! – попросила она кота. – А то следы остаются, мама придет и будет ругать тебя. Подумает, что ты злой кот. А ты кот добрый. Очень добрый. Правда?

Во дворе заговорили громче и все разом. Мария заголосила: «Божа ж мой, божа ж мой! Ти ты ёстяка у свете?»

Когда вся компания ввалилась в хату, принеся с собой холод и сырость, Алеся испугалась ещё больше – Марию было не узнать. Лицо и её и не её одновременно. Глубже обозначились полукружья век. На полотняно-бледном лице разводами сажа. Руки повисли плетью вдоль тела и мелко трясутся. И только пальцы живут своей нервной жизнью, судорожно перебирая края фартука...

Марию силком усадили на табурет. Иван достал флакончик и накапал из него снадобье на кусочек колотого сахара. Стало совсем тихо, и Алеся услышала, как стучат зубы Марии о стекло. Звук был неуютный и страшный – дз-з-з... т-т-т– ...дз-з-з...

Все сели. Мария уже не плакала, сидела спокойно, выпрямив спину и поставив ноги крепко и чуть выдвинув стопы вперед, как если бы собиралась вдруг вскочить и куда-то срочно побежать. И только запекшиеся губы тихо повторяли: «Ах, ты, божа ж мой! Божа ж мой...»

Василису парализовало – случился удар, и отнялись рука и нога. Алеся не могла взять в толк – кто и как, главное, смог отнять их у Василисы? И почему никто её не защитил от злобного врага? И как же она теперь будет ходить к ним в Ветку без ноги? И что будет у неё вместо отнятых конечностей? Но главное – кто, кто отнял? И почему нельзя найти его и забрать назад отнятое?

Эти ужасные «почему» совершенно выбивали её из колеи – но входить в расспросы она не решалась.

Ночью Алеся, прижав к себе мокрого от её слёз Дыма, тихо плакала, повторяя и повторяя сказанные Марией слова – «кольки ей цяпер марнеть засталось?» А когда она уснула наконец, ей приснился тяжелый сон, будто на Василису напали злые духи и в жаркой схватке отняли у прабабки руку и ногу. Она проснулась среди ночи и в голос заплакала. Прибежала Мария и спросила: «Ти ты незнарок з печки звалилася, деука мая?»

«Нет, бабушка. Я просто плачу, потому что Василисушку жалко-оооо!»

И она опять в голос заплакала, ещё крепче прижав к себе Дыма.

«Не рави, деука. Валкоу накликаеш! Спрадвеку так вядецца – старыя хварэюць заужды».

Мария и сама плакала, но в темноте её лица не было видно, и она держалась твердо. Днем же, когда солнце заглянуло в окно, она тоже в голос расплакалась, и Алесе от этого стало почему-то легче. Она почти успокоилась, только губы её продолжали вести свой особый разговор с Василисой: «Бедная моя Василисушка старопечатная, как же ты теперь к нам из села приходить будешь?» – И сама за Василису отвечала: «Да хоть на крыльях прилечу, чтоб тебя повидать!»

И тут Алеся снова припомнила свою детскую мечту – обнаружить, где все-таки эти люди прячут свои крылья от других людей? Тех самых, у которых крыльев нет.

Любовь к бабушке старопечатной была особой – Алеся считала её почти что небожительницей, только по доброте своей живущей на земле, и даже мысли не допускала, что придет такой страшный час, когда Василиса вдруг исчезнет. И вот, наконец, пришла такая ночь, когда не стало слез. Алеся легла на спину, а кот, получив внезапно свободу, не убежал, а сел рядом и, тихо мурлыча, стал тереться усатой щекой о её плечо.

Было воскресное утро, Мария встала раньше обычного – ещё и четырех часов не прокукувало. Алесю разбудил грохот пустых ведер в сених. Она посмотрела на ходики и спросила испуганно:

– Ба! А куда ты? И мне можно встать? Да?

– Спи, деука. Спи, не тваё дела? На ярмалку парысь павязем. А ты спи.

Мария надела кирзовые сапоги, новый ватник, голову покрыла толстым коричневым платком с розовой обводкой, обмотав вокруг шеи один конец, а другой – расправив на груди клином, взяла с лежанки кашелку и вышла в сени.

– Ба! И я с тобой! – крикнула её вслед Алеся.

– Спи, я тебе яблык прынясу и мёду, – ответили из сеней и щелкнул замок на клямке.

– И я с тобой! И я! – кричала Алеся.

Спрыгнув с лежанки, она подбежала к окну, что выходило во двор. Переступая с ноги на ногу и поджимая озябшие пальцы, она стояла на холодных досках пола и уныло смотрела, как во дворе грузят на телегу поросенка два здоровых мужика в телогрейках, подвязанных ремнями. Она заткнула уши, чтобы не слышать визга на смерть перепуганного животного. Она открыла форточку и сквозь слезы закричала:

– Яблок антоновых купишь, ба, а, ба?

– Купишь, кали казу аблупиш! – сердито ответила Мария, помогая мужикам привязывать поросенка.

К счастью, Марии что-то понадобилось взять в доме, и она отперла сени. Алеся, как была, в одной рубашке, выскочила во двор, подбежала к телеге и стала подпихивать постилку под одуревшего от страха и неизвестности поросенка. Один из мужиков взял её на руки и отнес в дом.

Когда телега уехала и в доме стало тихо, она слезла с печки, села на пол перед иконой и сбивчиво, на своем детском языке, объяснила небесной заступнице суть дела – мол, бабушка древлерусская живет на свете с давних-давних времен, может, целых сто лет живет или даже больше, но это ещё не повод – покидать вот так сразу её, Алесину, компанию. А руки-ноги её от работы немножко, конечно, испортились, и нельзя человеку, да ещё такому хорошему, с такими поношенными руками-ногами на белом свете жить. Надо бы ей послать с неба новые руки, и ноги тоже поновее не помешают...

А работать Василисушке больше никто не позволит, просто чтобы ходить к ним, в Ветку могла, вот зачем ей новые руки-ноги нужны.

И всё. И тогда они долго прослужат, и её, царицу небесную, Алеся не станет больше отвлекать по своим детским делам. А если новых запасных рук-ног там, на небе, вдруг не окажется, может, просто закончились и не сделали ещё запас, то, может быть, можно какие-нибудь старенькие починить.

А то как же Василисушке на свете жить – гостинцы ведь надо носить, и чай пить – чашку держать?

Это была её первая серьезная молитва – она даже решилась на посулы, как это обычно делают взрослые, когда о чем-то между собой договариваются, подумав, что надо этой внимательной женщине с грустным ребеночком на руках что-либо пообещать за её работу, и не зная – что именно, сказала про кота – самое большое её сокровище: «Если Василисушка поправится, я ребеночку твоему Дыма отдам! Насовсем! А то малыш твой грустный очень, наверно, скучно ему всё время на руках сидеть. Хочешь? Дым такой ласковый! С ним так сладко спать на печке! И детей очень любит. Будет твоего сыночка ластить».

Немного подумав, она добавила: «А когда лето придет, я тебе явора с болота принесу, целый угол! Будет под иконой стоять и тебя радовать. Ты же любишь явор? Правда?»

Больше она не знала, что ещё можно посулить небесной заступнице – ну не обещать же ей своё «хорошее поведение»?

Перед тем, как закрыть дверь в залу, она помахала рукой женщине на иконе, как своей старой доброй знакомой, и даже, совсем развеселившись от мысли, что теперь Василисушка обязательно поправится, показала ребеночку «гуся» – согнув руку в локте и круто закруглив ладошку, она забавно «гагакала», делая большим и указательным пальцами птичий клюв. Тень «гуся» слабо дрожала в свете лампы, а рядом, по стене в неярких зеленых обоях ползла светлая солнечная полоса.

Женщина на иконе смотрела вполне благодушно...

Пора ставни открывать – весело подумала Алеся и вприпрыжку поскакала одеваться.

...Деньги за поросенка отвезли в Старое Село – на лечение. Да только не помогло. Зимой лежала Василиса «лежнем», а весной, как раз перед Пасхой, померла.

После кладбища все сидели в горнице, за длинным, некрашеным столом и ели из больших общих мисок деревянными ложками густой кисель...

На Пасху да ещё по родительским субботам Мария собирала узелок снеди, и они вдвоем с Алесей отправлялись пешком на Старосельское кладбище. Там Алеся, уже не сдерживаясь, горько плакала, ей вдвое было обидно – и за смерть Василисы, и за непригодность кота для какой-либо серьезной мены. Конечно, разве мог кот, даже самый умный и такой сказочной красоты, показаться важным подарком такой важной женщине, а явор ей и так приносят на Троицу охапками. Целый угол!

И она спросила у Марии, когда шли с кладбища домой: «А чем за помощь богу платят?»

Мария не удивилась её вопросу и, немного подумав, ответила: «А ни чым». Алеся задумалась – как же так? Почему бог должен всем помогать бесплатно? И она решила уточнить: «А бог всем помогает?» – «Усим, усим, деука мая, усим, хто без граха».

Так вот оно в чем дело! Она – грешница!

Эта мысль ужаснула её. Особенно страшно делалось оттого, что она, Алеся, спокойно и весело жила на свете всё это время и даже не представляла себе, до какой степени грешна – ведь если кот Дым не смог своей чудесной красотой и вполне человеческим умом искупить её грех, то кто тогда вообще ей поможет?!

И она, богоматерь, могла сильно обидеться за то, что Алеся пыталась задобрить её, пусть и самым дорогим, с Алесиной точки зрения, но совершенно никчемным – по разумению богоматери, подарком...

Потом Алеся в ужасе вспомнила, как в пост Дым съел сливки из кринки, а бабушке сказала, что это она, Алеся...

Грех здесь был двойной – и солгала, и скромное в пост ела. Не могут же там, на небе за каждой мелочью следить!

Иначе, зачем на исповеди вопросы всякие задают? Она ведь и на исповеди про сливки сказала – что съела их в пост. А кот вообще дома не был. И батюшка поверил...

Получалось, что солгала она дважды – Марии и бабушке. И это – только начало! А сколько ещё всяких других грехов за ней числится? А разбитая бутылка алея? А порез на ноге? А побеги на речку без спроса? А ложь на каждом шагу?

Алеся вполне уже понимала, что прощения ей не будет никогда, и никакие молитвы здесь не помогут...

Она остановилась и сказала решительно:

– Бабушка! Я хочу вернуться.

– Куды? – удивилась Мария, дергая за руку стоявшую столбом посреди дороги внучку.

– На кладбище.

– Чаго ты там забыла?

– Мне надо срочно попросить у Василисы прощения.

– Чаго, чаго?

– Прощения. За то, что я ей напрасно обещала новые ноги.

– Чаго?

– И руки тоже, – сказала Алеся, безнадежно вздохнув и опуская голову.

– Ну, пайшли, – внимательно глядя на неё, сказала необычно тихим голосом Мария, и они вернулись с полпути.

Алеся сидела на траве, рядом с могилкой и горько плакала о том, что вот так живешь на свете и даже не понимаешь, что уже успел всем навредить. А эта женщина с небес смотрит своими зоркими глазами, и ничего не упускает.

Всё про всё помнит...

И ей стало неприятно думать о том, что ещё в будущем строгая богоматерь заметит со своей высоты и обязательно припомнит когда-нибудь, когда ты уже про этот свой грех и думать совсем забудешь. Конечно, она не какая-то там вреднючка злопамятная. Просто у неё работа такая – она должна быть справедливой ко всем.

Но всерьез обидеться на женщину с маленьким скорбным ротиком и большими печальными глазами всё же не получилось – да, просто у неё работа такая! Она и сама, наверное, переживает, что ей надо всё время приглядывать за людьми, запоминать, что они там, на земле, такого страшного нагрели. Может, ей тоже иногда хочется просто так поиграть со своим ребеночком, как другим женщинам, разрешить ему немного пошалить, а для этого надо отвернуться или закрыть глаза, но она не может, у неё нет времени. Ей надо всё время смотреть за людьми...

Вот и сидит она день-деньской с несчастным младенцем на руках, который чуть уже не плачет, хотя и рот не открывает, так ему хочется побегать по траве...

Теперь Алесе стало до смерти жаль богоматерь с её невеселым несчастным младенцем на руках. Ночью, когда все спали, она тихо пробралась в залу, села на пол перед иконой и тихо-тихо прошептала: «Знаешь что, за Василису я не обиделась, даже не бери в голову, слышишь? Ну же, одобрись!»

Однако глаза на иконе смотрели по-прежнему строго и отстраненно.

Тогда она немного подумала и обнадеживающе добавила: «Скоро и тебе свобода выйдет! Мне Василисушка в старой песне пела. И ты будешь жить, как тебе захочется! И будешь со своим ребеночком на лужайке вольно играть. И никто не закричит – а ну, иди-ка на своё место! И кот у вас свой будет, правда-правда! Может быть, это будет сынок или внучок нашего Дыма...»

Дождавшись, когда Иван снова захрапит, она осторожно выбралась из залы и быстро шмыгнула к себе на печку, в приятное тепло и добрую компанию кота Дыма, которому и во сне не могло присниться, какая заманчивая перспектива внезапно появилась у его потомства.

Иногда она смотрела на плачущую Марию и рассуждала втайне: вот случись такое горе с её бабушкой, Марией, она, Алеся, не станет дожидаться воскресенья, чтобы пойти

на базар и продать там что-нибудь, а сразу даст телеграмму хоть в самую Москву, потому что Иван всегда говорит, когда сердится на неё за каверзные вопросы – ума палата, хоть в самую Москву посылай!

А это могло означать только одно – уж где-где, а «в самой Москве» всегда точно знают, что и как надо делать в разных там опасных случаях. И пришлют тогда «из самой Москвы» самого лучшего доктора. «Вылечи мою бабушку!» – попросит она самыми добрыми словами, а потом, когда Мария излечится, она будет работать на этого доктора хоть всю свою жизнь. Пока не заработает столько денег, сколько стоит самое дорогое лекарство на свете. В Москве всё есть. Там даже есть кто-то страшный, который по радио всё время грозит, что съест народных депутатов. И она как-то тихо спросила, чтобы дедушка не услышал, не депутат ли их Иван? На что Мария сердито ответила – «адчапися»!

Теперь Алесья внимательно приглядывалась к тому, как Мария ходит. Однажды, когда ей показалось, что Мария начала прихрамывать, она, как бы невзначай, сказала: «Бабуленька, давай с тобой посидим на крылечке. Ты мне страшную сказку расскажешь».

Мария отвечала всегда одинаково – не замай! А сказок не знала или не помнила, садиться отказывалась и продолжала делать свою бесконечную работу. Алесья настаивала, чувствуя непосильный груз ответственности за свою последнюю доступную бабушку, и та, наконец, удивленно спрашивала: «А ти ты стамилася? Иди у хату, бяры книжки и разглядывай малюнки».

Книжек в Алеси было много. А читать она выучилась так – пришла как-то к ним в гости из Старого Села племянница Марии, Алесья её и попросила научить читать. Та взяла карандаш и написала на коробке от домино – «ЛОРКА-КОРКА». Буквы она запомнила и из них сама уже написала несколько новых слов – «кора», «крок», «рока», «кола».

...Через неделю Алесья снова пристала к ней – напиши новые слова. Та по – смотрела на её записи и рассмеялась: «Это что за „рока“?» – «Ну вот», – сказала Алесья, показывая на свою руку. Девушка исправила ошибки и объяснила, что не все буквы звучат одинаково – в разных словах они произносятся по-разному. Алесью это очень удивило и даже показалось глупым – а почему же нельзя придумать буквы на каждый звук? И она стала придумывать разные значки для обозначения различных звуков. Для известных ей в письменном виде слов она нарисовала два десятка картинок, а когда её домашняя наставница спросила, весело смеясь, что это за иероглифы, она, до близких слез обидевшись, с достоинством непонятого лингвиста – серьёзно, хотя и несколько отчужденно, ответила: «Так... Чтобы люди не путались».

Ей выдали тетрадь, в которой были записаны три десятка слов в форме знакомых стихов-считалок:

«Дождик, дождик, перестань, мы поедem на Ростань, богу молиться, Христу поклониться!», «На золотом крыльце сидели...» и других, тех, что дети обычно выкрикивают на улице, когда вместе играют.

Так была освоена грамота, и Алесе стали доступны не только картинки, но и сами тексты в книгах. Она сама нашла библиотеку, записалась в неё и первым номером взяла две самых интересных – «Конек-горбунок» и «на Баррикадах» – обе книги были в ярких, с рисунками, обложках. На печке, за трубой, нашла ещё и старый учебник истории для пятого класса.

Отчего же такие плоские тела у воинов? – думала она, разглядывая изображение колесницы и всадников на конях. – И головы повернуты набок! У тех, кто на троне...

Её это очень удивило, она не могла отделаться от назойливой мысли о том, что в этой очевидной глупости художника, возможно, есть какая-то жуткая тайна. И вдруг её осенило – ну, конечно, всё просто – он, этот правитель, просто глухой на одно ухо! Вот и повернул голову набок, чтобы лучше слышать своих подданных!

Зато «Конек-горбунок» был без таких вот каверзных закавык – простой и веселый, как и положено сказке. Вот только жалко рыбу-кит, зачем же ей спину плугами пахать? Больно ведь все-таки...

А может, это вовсе и не рыба, а живой остров. Хочет, стоит на месте. А не захочет – возьмет и пойдет на дно! Наверное, и в этой истории есть своя закавыка.

Книжка «На баррикадах» была тоненькая, и картинки в ней не цветные, хотя тоже очень интересные. Дети воюют! И как странно они одеты! Воюют, потому что тоже хотят, чтобы воля поскорее вышла.

Эту волю, плененную неизвестно кем и неведомо когда, Алеся себе представляла в виде женщины в большой светло-зеленой шали, с распущенными волосами по пояс, с красивыми длинными глазами до висков, и обязательно с цветами в руках – розовыми, желтыми и голубыми.

Идет она, эта воля, через леса и болота и смотрит вдаль, и явор перед ней расступается и ласково стелется под ноги...

Как давно жили фараоны, Алеся даже вообразить себе не могла, потому что самым большим ощущаемым количеством была для неё цифра «сто и даже больше». Записывала она это так – единичка два нуля. Причем второй ноль был высокий и жирный, раз в пять больше нуля первого. Вот это и было – больше ста. А тут – целые тысячи лет! Сколько это – ничего не ясно. Сто – это два полных кармана листьев липы. Она их могла сосчитать. И десять – тоже понятно, это помещается в одной руке, из десяти листьев клена можно сделать небольшую гирлянду на этажерку с книгами. Но тысяча!

Теперь это новое для неё количество прочно было увязано с образом фараона, хоть и страдающего на одно ухо слуховым расстройством, но все-таки чуткого к нуждам своих верноподданных.

Когда, наконец, размышления о понятии тысяча настолько надоели, что перестало её тревожить – просто очень-очень много и всё, она удивилась другому невероятному открытию – как давно люди за волю воюют! Ведь и в учебнике с фараоном на обложке было написано то же самое...

И тут её обьял дикий, совершенно неведомый ей до этого страх. Она опять обманула! И кого?! Эту тихую грустную женщину с ребеночком на руках, которая и мухи не обидит и всем верит на слово! Ведь та могла подумать, что воля совсем скоро выйдет, может быть, даже этим летом! Она ждет-пождет себе, ребеночка успокаивает – скоро, скоро шалить будешь, сколько хочешь, и даже на речку один побежишь гулять по воде, – а воли всё нет и нет!

А что «воли нет», она точно знала от Василисушки. Иван тоже говорил, и Мария часто говорит – была б моя воля!

Значит, её нет, этой самой воли. Никто ведь не будет мечтать о том, что у него уже есть. Она стала внимательно следить за иконой, иногда ей казалось, что глаза тоскующей женщины делались такими грустными, что казались совсем черными.

И тогда она снова приходила к ней ночью. Осторожно садилась на пол и тихо шептала: «Потерпи маленько, ну чуть-чуть потерпи! Скоро уже, скоро...»

А младенчику, чтобы стал чуть-чуть веселей, показывала «гуся» и «собачку». Глаза у ребеночка веселели, но ротика он так и не открывал...

...Однажды Мария разбудила Алеся рано, когда ещё Иван на работу не уходил.

– Где спать, у церкву пойдем. Свята сенья. Сафия.

– Ба, а Дым пришел?

– Нямашака.

Дым пропал неделю назад, тоже был праздник – рождество богородицы. И тоже они с Марией в церковь рано ходили.

Алеся бегала по улицам и спрашивала у всех – не попадался ли кому на глаза её кот, большой такой и очень красивый. Однако никто кота не видел, и только старуха Тося, что жила у самого луга, сказала, будто видела похожего кота из окна. Его машина сшибла, но не насмерть, а просто оглушила. Тут, откуда ни возьмись, появилась нищенка с клюкой, завернула кота в лопух и положила в свою котомку. Тося вышла в проулок, чтобы сказать нищенке, что кот хозяйский, а той уже и след простыл...

Они ждали, что кот вдруг придет, возникнет из ниоткуда, без никаких поисков, но Дыма все не было и не было. Алеся спрашивала о коте уже привычно, безо всякой надежды, и слезы снова комом встали в горле и мешали дышать.

Она спрыгнула с лежанки, быстро оделась и побежала во двор.

Ей стало трудно дышать – от колючего свежачка по утрам уже бывало морозно, а не просто прохладно, но умывались всё ещё из рукомойника за крыльцом. Однако едва открылась дверь, глазам её предстала картина, от которой дыхание прекратилось вовсе. То, что она увидела, казалось ей волшебным продолжением чудесного предрассветного сна. На крыльце сидели два больших, просто огромных кота!

Она протянула руки и осторожно прикоснулась к одному из них. Кот был наяву!

Потом она потрогала второго – он тоже был живой!

Нет, это ей не снится. Коты самые настоящие. Они были совсем ручными и, ласково мурлыча, гудели, как трансформатор, когда Алеся их гладила по блестящим черным спинкам. Один кот был немного толще и крупнее второго, но они всё же были братьями, так она почему-то решила. Глаза их были одинаково янтарными и круглыми и смотрели доверчиво и по-детски. Темная, почти черная блестящая шуба, мех под мышками коричневый, на шее у младшего красовалась белая звездочка, у второго, он был крупнее – белая перевязь на животе.

Она взяла их на руки и едва дотащила до печки, каждый кот весил, наверное, как пять буханок хлеба. Младшего кота она назвала Звездочкой, из-за белого узора на шее. Того же, что был больше ростом и толще, Софоклом, или – Софиком, за его спокойный и полный мудрости взгляд.

Так начался праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Не дождавшись возвращения Дыма, Алеся для себя решила, что вся эта волшебная история может иметь только одно объяснение – Дыма богоматерь все-таки взяла себе. А ей взамен дала двух своих котов. Из этого следовало, что у небесной царицы есть всё, даже чудесные красивые коты, почти такие же замечательные, как и её Дым. И, вообще говоря, она, богоматерь, могла бы и без её Дыма обойтись, но все же мена состоялась, хотя и не такая, на которую надеялась Алеся. Но как же насчет воли? Выходило, что и воли небесной царице не надо. Она у неё и так есть. Просто она её не употребляет без надобности, так ей, наверное, хочется. Вот дедушка тоже мог бы по выходным на службу не ходить, а ходит! Особенно когда квартал кончается. И чтобы квартал не умер окончательно. Он и ходит на работу в свой выходной. И это – по своей собственной воле.

Конечно, кому приятно смотреть, когда кто-то кончается. Даже если этот «кто-то» просто квартал. Он стонет, мечется, ему плохо...

Тут всякий по своей воле пойдет помочь.

Как он кончается, Алеся точно не знала, но Иван, без всякого сомнения, своим присутствием на службе мог ему, этому кварталу, конечно, как-нибудь помочь.

Теперь Алеся о Дыме хоть и вспоминала по-прежнему часто, но уже без той угрюмой тоски и противного кома в горле, что в первые дни после его исчезновения. Она верила в то, что Дым не пропал, и ему сейчас хорошо.

– Ба! – спросила как-то Алеся. – А ты почему книжки не читаешь?

– А што у тых книжках такого, чаго мне не хапае? – отвечала вопросом на вопрос Мария.

Но Алеся видела, что есть в этом какая-то заковыка. И она прямо спросила: «А ты в школу где ходила – в Старом Селе или здесь, в Ветке?» Мария вытерла руки о фартук и сказала: «Я у школу хадила адну зиму. Работы у матки было многа. Некали было у школу хадить».

Всё встало на свои места. Теперь Алеся понимала. Почему, когда приносили пенсию, бабушка говорила: «Иди, деука, распишися, не ведаю, дзе мае ачки».

И добавляла, повернувшись к почтальонше: «Не гляди, што малое. Яна грамату знае. Няхай расписваецца».

А когда дверь закрылась, и они остались одни, Алеся сказала ласково и настойчиво, тесно прижимаясь к мягкому животу Марии: «А давай, я тебя учить грамоте буду!»

Мария сначала отмахивалась – а йди ты! Но потом согласилась и читать выучилась скоро.

«Я адну зиму у школу хадила», – сказала Мария и принялась писать крупные неровные печатные буквы.

Слово же писала пока только одно – свою фамилию, только первые буквы «Рома» и потом длинный хвост-росчерк. И это было здорово – теперь не надо искать вечно потерянные очки, когда принесут пенсию, а внуки не окажется дома. Вывески же она читала легко – «райсобез», «горпо», «раймаг».

«Райсобез» отдавал чем-то сочувствующим, «горпо» было словом жестким и строгим, а вот «раймаг»...

Это последнее, волшебное слово давно интриговало Алеся – маг в рай! Но, когда они туда зашли с Марией, оказалось, что рай там действительно был, в смысле – было много всего, а вот мага обнаружить не удалось. Хотя про хмурого продавца с маленькими ручками и толстым животом Мария сказала как-то в разговоре с Иваном – вельми крутамозки! И это могло означать только одно – он умел крутить мозгами. А это, конечно, настоящий фокус. И не каждый так умеет.

Алеся удивлялась, сколько есть на свете слов, настоящее значение которых просто невозможно узнать. Об их смысле можно только догадываться.

Скоро она сделала ещё одно важное открытие. Относилось оно теперь уже не к отдельным словам, а целым предложениям. Люди говорили и писали одно, а понимали под этим совершенно другое. Когда она читала в книге, что кого-то в воду опустили, становилось ясно, если дальше прочесть, что этот кто-то просто имел унылый вид. А когда в ту же воду опускали концы, то это надо было понимать, что кто-то что-то важное хочет скрыть. А кануть в воду значило просто хорошо спрятаться. Когда с гуся текла вода, то понимать надо было, что кто-то очень хитрый и умеет притворяться, что ему всё «по балде», как говорит её дружок Сенька. А когда кто-то прошел через воду и огонь, это значило, что его много били, а если кто-то мог броситься в огонь и воду, это значило, что человек этот храбрый умный и хитрый. Потому что мокрая одежда не горит. А если кто-то мутил воду, то понимать это надо было так: этот кто-то не просто хитрый, а ещё и обманщик. Если кто-то ловил рыбу в мутной воде, то попадались ему не караси и окуньки, а деньги, и наверное, монетками... А если кто-то не мутил воду, то был это человек тихий и простой. А тот, кто в воду глядел, просто был колдуном. Кто же носил воду решетом, был от рождения бездельником или просто дураком. Кто же писал по воде вилами, явно хотел кому-нибудь голову задурить. Если же кто-то набрал в рот воды, то ясно было, что он просто обиделся или почему-то не хочет разговаривать. А кто сидел на хлебе и воде, тот просто ничего не ел. Лить воду на мельницу означало кому-то поддакивать, наверное, тому, у кого эта мельница была. Кто же был седьмой водой на киселе, просто притворялся родственником и своим человеком. А уж кто мог выйти сухим

из воды, тот был ужасно опасным и хитрым человеком. Кто же умел ходить по воде, тот был самым Христом.

Так много этих мудростей было связано с водой, что Алеся даже пошатнулась в своей вере – в то, что люди произошли от птиц. Наверное, они произошли от рыб. И жизнь их была такой, что надо было всё время делать вид, что ты думаешь совершенно не о том, о чем на самом деле думаешь. Вот они и придумали разные хитрости со словами.

И теперь совершенно понятно, почему кто-то воду толчет в ступе или каких-то людей водой не разольешь, сколько её ни лей...

Эти невозможные тайны занимали её воображение, но более всего ей хотелось знать – кто же все-таки был тот ужасный, кто хотел всех съесть?

Она, слушая утром радио, лежала на уже остывшей печке и мечтательно думала, как, должно быть, сказочно красивы заснеженные стены Кремля. Сам Кремль она видела на картонной упаковке духов «Красная Москва» – в виде башни, у жены начальника почты, когда ходила играть с их дочкой. Но снега на этом Кремле почему-то не было. А ведь должен был быть! В песне ясно сказано – утро красит снежным светом стены древнего Кремля. А снежным свет делался оттого, что Кремль был весь в снегу. Неужели тот, страшный, затаился где-то там, у прекрасных стен заснеженного Кремля, и ловит момент, чтобы жадно съесть народных депутатов...

Жуть!

И ещё одна непонятность – волшебные кустракиты над Москва-рекой! Она хорошо себе представляла эти огромные деревья, и под их корнями, которые уходят далеко под воду, живут большие красные раки, и может, этот страшный как раз там и спрятался и теперь ждет своего часа? Однако никто не знал наверняка – почему стены Кремля снежные, и каково оно на самом деле – это волшебное дерево кустракита. Не знала племянница Марии, что за чудесные кустракиты растут в родном, навек любимом крае, не знал и сам Иван. Мария же просто сказала – адчапися! И Алесе ничего другого не оставалось, как ещё и ещё раз вслушиваться в слова песни, которую каждое утро передавали из Москвы по радио какие-то простодушные и беспечные люди – «Край родной, навек любимый – кустракиты над рекой»...

Вот они поют и радуются чудесным кустракитам над рекой, и никто-никто не знает, что скоро этот страшный съест народных депутатов и даже самого капээсэса. А этот неведомый капээсэс, уж конечно, кто-то очень непростой!

И оттого, что всё-всё было так непонятно, и никто ничего не хотел толком объяснить, становилось ещё страшнее.

Однажды Алеся попросила Марию отвести её к Ивану старшему, отцу её дедушки. Мария сказала, что он совсем старенький и живет «сам» – книжником, а это означало, что он не любит, когда его беспокоят. Но всё же в родительскую субботу, когда ходили на кладбище, зашли и в маленький домик на краю села. Там жил её прадед Иван.

По дороге Алеся спросила:

– А где Василиса жила?

– А тута, – сказала Мария, показывая на домик прадеда.

И тогда она впервые рассказала Алесе, что мать Василисы звали Марией, а бабушку – тоже Василисой. И жили они вовек в этом домике. А когда Василиса слегла прадед Иван, к тому времени уже овдовевший, переселился к ней в домик и, сам уже слабый, как мог, ухаживал за хворой. В селе говорили – сошелся со своячницей. И, таким образом, был Алесе, по линии Марии и Василисы, как бы прапрадедом.

Прадедушку Алеся видела первый раз. Он был очень похож на старичка из книжки волшебных сказок. Волосы на голове были черными, глаза синими, а нос и лоб составляли одну линию в профиль. На полке между окнами стояли книги, сам старичок, в очках на веревочке, что-то внимательно читал и, казалось, не заметил их прихода. Они поздоровались,

Мария, немного поговорив с хозяином, ушла, оставив Алесю наедине с маленьким старичком в очках на веревочке.

– А что ты читаешь, дедушка? – спросила Алеся.

– Книгу, – ответил прадед, откладывая чтение и внимательно разглядывая девочку. – И ты читай книги, на свой только разум не надейся. Толикая есть слабость человеческого рассудка, что если мало отдалится от вещей, им осязаемых, из заблуждения в заблуждение ввергнется, то как возможно человеку льстить себя достигнуть единою силою своего рассудка до понятия высших вещей. Блаженство рода человеческого много от слова зависит. Как бы мог собраться рассеянный народ, как бы мог он строить грады, храмы, корабли, ополчаться против неприятеля и другие, требующие союзных сил, дела творить, если бы способа не имел сообщать свои мысли друг другу? А язык, которым Российская держава великой части света повелевает, имеет такое природное изобилие, такую красу и силу, что никакому иному языку не уступит, и даже пребудет впереди. Вот что такое наша речь.

– Дедушка, а речь – это речка? – спросила Алеся, весело засмеявшись.

– Речь – это речка. Но течет в её русле не вода, а человеческая мысль. Это ты правильно заметила сходство. Учись красноречию, и всегда впереди твои мысли будут.

– А красноречие – это...

– Это есть искусство – перебил её прадед, – искусство о всякой материи красиво говорить и тем преклонять других к своему об ней мнению. А ты, я вижу, хоть и мало воспитана, что всё старших перебиваешь, а всё ж природные дарования имеешь. Это хорошо. Особенно важно иметь хорошую память и остроумие, это в учении так же важно, как и добрая земля для чистого семени. Ибо как семя в неплодной земле, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно.

Алеся мало что поняла в этом его долгом, как зимняя ночь, высказывании, но, помня его замечание, вежливо кивала и продолжала внимательно слушать. Не только возражать или переспрашивать, а даже вольно говорить какие-то слова этому волшебному старичку, она уже не смела. Из длинного наставления своего ученого предка она поняла только одно – раньше люди все книги знали наизусть. И если Алеся хочет чему-то научиться и что-то познать, она должна, прежде всего, научиться запоминать и вспоминать.

Дома уже, лежа на печке, она долго думала – как этому можно научиться.

«Сам Иван» был самым, наверное, грамотным человеком и в селе, и в городе Ветка. Во всяком случае, так про него говорили, когда кто-то что-либо не мог для себя уяснить – у грамотея спытали?

К Ивану ходили на суд даже буйные соседи. Он всегда говорил тихо, даже немного медленно, и с ним никто не спорил.

И он, её ученый дедушка, тоже ничего не говорил. Наверное, тоже ничего не знал! Потому что если бы знал, обязательно сказал бы про этого страшного...

Но Иван молчал, а если говорил, то про экономический потенциал Ветки и про новый мост, который скоро построят через Сож.

Когда началась война с немцем – в 14-м году, Ивана, тогда уже женатого, взяли в штаб, писарем. Вернувшись с войны, тут же подался в Гомель, не долго крестьянским трудом тешился. Тогда он увлекся экономическими вопросами, а в Гомеле работал известный в то время молодежный кружок «Мы – за свободу и разум». Первые лекции были посвящены национальному экономическому вопросу, и товарищи Ивана по новому увлечению много и бурно выступали на тему о том, почему это свободным считается то, кто может позволить себе бездельничать, а если ты в поте лица добываешь свой хлеб, то ты – раб, потому что работаешь!

Мария не стала, да и не смогла бы, ему перечить. Не было тогда такой моды – мужа поучать. Ушёл на чистую жизнь – значит, так надо. Виделись они теперь только по воскресеньям и праздникам.

На той же улице, где жили Иван и Мария, поселился Акимка, старинный Мариин уха-жер. Отец его ушел с белополяками и осел где-то на Западной.

Марию он заприметил, когда та совсем ещё молоденькой девицей была, было это на Спаса. Акимка вез яблоки на ярмарку, а Мария за мёдом на базар наладилась – припарки медовые Василисе на ноги делать. Сядай, подвезу! – Ну, села. Слово за слово, дорога незаметно прошла.

Потом ещё раз-другой в Старое село заглядывал, сам же был халецкий, версты полторы от них будет. И вдруг пропал, куда девался, никто не знал. Отец жил бобылем, слова из него лишнего не вытянешь...

Когда вернулся, Мария уже замужем была, он, год промаявшись под чужими окнами, женился, взял в жены Марыльку – маленькую, невзрачную полячку с весьма крутым, однако, нравом. Поляков ещё много оставалось в этих краях и после двадцатых.

И побежали годочки один за другим зима – лето, зима – лето, зима – лето...

Настал тридцать шестой.

Одиннадцатого июля готовились праздновать шестнадцатую годовщину освобождения. Мария тоже на митинг пошла, ей, как жене председателя райпотребсоюза, было строго предписано посещать все общественно-политические мероприятия.

На Красной площади, перед магазином сельпо и на Советской площади – перед райкомом партии было полно народу. Куда ей надо, она точно не знала. Решила пойти на всякий случай на Красную. С ней была и младшая дочка Броня. И не ошиблась – Иван стоял на трибуне. Мария указала дочке на него.

– Гляди, вон твой батька! Слухай, што казать будуть.

Броня захныкала, ей хотелось побежать к подружкам и заняться привычным делом – беготней по улицам, пока домой не загонят уроки делать или по хозяйству что помочь. Но Мария сильно дернула её за руку – «тиха стой!»

Иван говорил недолго – поздравил ветковчан с праздником и уступил место у микрофона гостю из края. Тот, напротив, говорил долго и громко.

– Дорогие братья! – начал он, прокашлявшись. – Я – белорусский рыбак с озера Нарачь, теперь для вас я, ваш брат, западник. Страшенные бедствия терпим мы там, хлеб едим только на Каляды, а в другие дни – только бульбу, да и то не досыта. Про яйца и масло и думать забыли, это для нас – роскошь. Спичек тоже не покупаем. Из одной хаты в другую горшочек с углями носим. Огонь добываем из кремния, как якия-то приматы. Керосин могут купить самые богатеи. А тут ещё стали строить военные заводы, и земли наши отымать стали и отдают их асадникам – служкам фашистским! Вот какая у нас жизнь там настала, братья!

У оратора заиграли желваки, стиснув кулак, он погрозил на запад, невидимому лютному врагу.

Все дружно захлопали и громко закричали – долой! Долой! Долой!

Мария слушала и незаметно поглядывала на небо – лениво тянулись длинные седые облака, белесое солнце просвечивало сквозь них слабо и нежарко. Бульбу апалоть нада. Ти паспеем да начала дажжей?

Ей было жалко людей, которые едят «только бульбу», а хлеб – на Каляды. У них тут было и сало, и гусятина. Хозяйство в Ветке держать не хлопотно, не так, как на селе. Луга здесь рядом, за околицей, трава высокая, сочная, корму скоту хватало. На поле сеяли жыто, просо и пшеницу. Кукуруза росла в огороде, на задах. Семья Ивана и в селе не была беднячкой, но и кулаками их не числили, так что отбирать ничего не стали. Семья большая была и дружная, в бедность никому впадать не давали. И теперь, в городе Ветка, связь с селом

не кончилась – Иван им денег посылал, а ему оттуда – яиц да бульбы, куриного пера на подушки, льна на простыни.

...На трибуне сменился оратор. Теперь говорил человек из обкома.

– Вот тут товарищ с Западняй рассказал нам про их трудную жизнь, а я от себя добавлю последнюю информацию – только на одном Полесье отобрали у людей тридцать тысяч га земли. А ещё больше – на Виленщине. – (В толпе прошел ропот.) – Да, это так – Западные Украина и Беларусь теперь стали колониями! Внутренними колониями Польши! – (Шум в толпе митингующих всё усиливался.) – Их вице-премьер Квятковский на днях заявил: есть теперь две Польши – Польша «А» и Польша «Б». А что это значит? А то. В Польше «А» сосредоточена вся промышленность, почти все культурные и научные учреждения. А вот десять миллионов наших бывших граждан на Западняй не имеют даже своих национальных школ! А в польские их не пускают! Вот и получается, что большинство наших братьев – теперь неграмотные. «Злочынцами» объявляют тех, кто требуют открытия национальных школ!

Пока шел митинг, Мария передумала все свои думы – и про бульбу, которую надо спешить окучить, и что корова стала туго доиться, и пол подоюника не нацедишь. И что Франю, старшую, хвароба змучыла...

– А что это ты, бабонька, не хлопаешь, когда товарищ секретарь говорит? – шелестел прямо над ухом знакомый голос. – Га?

– А йди ты, сатано! – отмахнулась Мария от Акимки, во все глаза глядя на трибуну и ощущая холодок в спине, между лопаток и противную тяжесть в ногах.

Она ждала пятого ребенка и знала, что родится мальчик, живот не раздался вширь, а торчал бугром. Четвертое дитя умерло при родах год назад.

– Мам, а, ма! – канючила Броня. – А пойдем домой!

– Тиха, деука. Цыц! – усмиряла Мария дочку, едва сдерживая тошноту.

На другой день было гулянье, и во всех окрестных колхозах объявили выходной. Правление выдало каждому колхознику по десять рублей.

С утра небо хмурилось, временами слабо накрапывал дождик, но к полудню погода разгулялась, а в шесть часов вечера в сквере над рекой заиграли фанфары.

Здесь сейчас была вся Ветка. На деревянной площадке, где всегда по субботам и выходным играл духовой оркестр, стояло несколько человек. – «Ти то ж апять митинг буде?» – подумала Мария, крепко держа Броню за руку, но тут из тарелки громкоговорителя с треском и жужжаньем выплеснулось звучное – «Трудящийся народ горячо любит своего вождя!»

Со всех сторон закричали «урра!»...

Пока волны аплодисментов катились от сквера к реке, над Сожем за клубился легкий туман и летний сумрак подполз тихо и незаметно и накрыл собою все окрестные улицы и заулки.

К пристани подошли моторки, степенные и нарядные мужики, разодетые бабы и девки, веселая ребятня – вся эта пестрая толпа шумно повалила к причалу и загрузилась на украшенные фонариками и гирляндами палубы. На каждой играл свой духовой оркестр. Катались по реке долго, потом гулянье продолжилось в сквере. Вспыхивали фейерверки, заглушая друг друга, играли вразнобой оркестры...

Напрасно Мария высматривала мужа, за весь день он к ней так и не подошел ни разу. Она его видела издалека – вокруг Ивана всё время толпились какие-то дядьки. Зато Акимка крутился व्यюном, и на моторку тоже сел вместе с ней, на ту же палубу. Лицо его, нагловатое во хмелю, всё время оказывалось как раз там, куда она направляла свой взгляд. Один раз он даже наступил её на ногу, что на местном языке влюбленных означало неуклюжую попытку объяснения в чувствах. Мария так свирепо глянула на него, что он больше не решился мозолить ей глаза и дальше и подался к мужикам.

– Нияк на тябе глаз паклау, – со смехом сказала Домна, незамужняя соседка Марии, отсыпая в карман Марии тыквенных семечек. – А што ж твой чалавек нйде?

– Ня балтай, балаболка! – сердито сказала Мария, ожесточенно лузгая семечки.

– А чья гэта маладица пайшла? – переключилась на другую тему Домна. – А каму вон той сваяк буде?

– Погуляем, красавицы?

Снова возник Акимка и тут же был изгнан вдруг сделавшейся стро – гой и неприступной Домной:

– А ты сиди, бес!

Акимка втянул голову в плечи и понуро побрел в темноту. Мужик он был ничего, хоть как посмотри. Да не было у него таланта нравиться людям. Все его от себя гнали, и мужики и бабы. А тут ещё за отца насмеваются – выродок кулацкий!

Сейчас он стоял один, безо всякой компании, в тени акаций и смотрел злыми глазами на веселую толпу. Вот был бы он председателем или хотя бы старостой халецким, не так бы с ним обходились – не гоняли бы от себя, не насмехались...

Он завидовал многим, но больше всех – Ивану. Грамотей, тудить его в качель! Был бы Акимка на его месте, он бы ни на минутку не отпускал от себя эту красавицу кужлявую!

Мария, родив четверых детей, ещё краше стала, чем в девках была. Не испортили её фигуру роды, не портила её и беременность. Бедра стали шире, но талия упрямо возвращалась к прежнему, девичьему размеру.

Густые черные волосы вились ещё бойчее, светло-карие глаза смотрели смело и открыто, спина, хоть Мария и таскала тяжести, как все другие бабы, тоже оставалась прямой и неширокой, как у девки. А уж как наденет в праздник плюшевую жакетку в обтяжку, так и занает Акимкино сердце, так и занает в бессильной тоске...

Здесь, в этих краях, Акимка видал разных баб – были и такие раскрасавицы, что хоть завтра за шляхтича отдавай, не осрамишься. И хороши, и статны, но в Марии был, кроме красоты и стати, ещё и свой гонор – этим прямым открытым взглядом янтарных глаз она его и сразила в первую же встречу. Откуда у девки-беднячки такие глаза безбоязные?

«Паненкай паглядае! А годы выйдут, такая же старая стане!» – говорила про неё Марылька, перехватывая тоскующий не по ней взгляд мужа.

Да. Пройдут годы, и она, эта раскрасавица, тоже делается старой, сгорбленной, как все старухи в округе, Работа на хозяйстве кого хочешь укатает!

Но даже эти мысли не могли утешить Акимку и погасить его тяжелую страсть. Даже старую и сгорбленную, он бы её желал так же пламенно и нестерпимо. Была бы его воля – убил бы, чтобы никому не досталась, раз судьба отвела ей другого мужчину.

Как-то Марылька сказала в сердцах:

– Всё сохнешь по своей красуле? Паненкой из курятника всё бредишь? А своя жонка лагодная не любя тебе? А то бабы казали...

– Паненка и есть. Значится, квас не про нас. И не слухай ты хлусню бабскую. Ничога не было.

– Ах ты, жук гнаявы! – кричала на него Марылька и била неверного рушником.

Однажды, ненароком встретившись на улице у колодца, Акимка подошел к Марии – будто помочь ведро на коромысло подцепить, и тихо, почти в самое ухо, сказал:

– Что это ты, бабонька, всё зыркаешь на меня, как на врага? А я ж тебя, любка моя, больше жизни кахаю.

– Няужо? Адчапися! – тихо крикнула Мария, расплескивая воду. Но Акимка совсем забыл осторожность – близость любимой женщины совсем помутила его разум.

– Иди да мене, красуля, Ивана сення в селе нетути.

Мария поставила ведра на лавку у колодца и прошипела ему в лицо:

– А ты усё больш нахабны робишся! Я ж тябе, штоб ты знау, болей смерти ня хочу! Нашморгае табе Иван загрывак! Вот пабачыш! Прыде час!

– Ишь ты, панна якая! Чем я не подохожу, а? Мужик как мужик. Не пальцем, знаешь, делан! А ты кто такая супратив меня? Весь ваш род ганарливы, штоб вас усих... – злобно сказал Акимка и отошел в сторону. А когда Мария прошла шагов десять по тропке, негромко крикнул ей вслед: «И нечего нос драть! Нихто ты. Поняла? Нихто передо мной! Поняла, ты, хлусливая баба?»

Мария не обиделась на его грубые слова – она их уже не слышала. Она любила своего Ивана, была с ним обвенчана, и даже думать о том, что кто-то мог бы встать между ними, в её голову не приходила и не могла придти.

Судьба такая – жить за Иваном. А судьбу не меняют. И никакой мужик на целом свете не мог для неё хоть что-либо значить.

...Акимка рос незлым мальцом. Только не очень его брали в компании. Да ему и в одиночку не сильно скучно было, любил зверьё, особенно, дворовую собаку, что на привязи у амбара сидела. Ему жалко было псину, и он подкармливал своего мохнатого дружка Каштана, таская из кухни кости и корки хлеба, когда батька не видел. Узнает, порки не миновать. Однажды, когда Акимка отвязал Каштана и пустил его побегать на задах усадьбы, батька так цопнул его за шиворот, что чуть шею не свернул. Тогда Акимка был посажен на цепь и просидел у собачьей конуры до самой ночи. Мать плакала, а батька сказал, что прибьет её, если она отвяжет сына.

После этого случая Акимка стал заикаться, особенно сильно, когда шел к батьке на отчет. Через год бабка-шептуха заговорила, заикаться он перестал, но к собакам подходить не решался. И даже как-то бросил камнем в бродячего пса.

Получилось так, что работники украли мешок зерна из амбара, и Акимка это видел. Батьки он по-прежнему боялся, хотя уже осмеливался в глаза ему смотреть, когда тот брался за плетку.

У Акимки тогда уже усики пробивались. На девок начал заглядываться. Против батьки идти он, конечно, не мог, но и себя в обиду давать не спешил.

Он видел, как мужики мешок с амбара тащили, не потому что пожалел их, а просто батьке хотел отомстить – вот никому и не сказал. Когда батька стал дознание вести, один мужичок всё про больную жинку что-то мямлил, мол, с печки не слезает, хвоя, у другого – детей полон двор, вечно голодных...

После десятой плетки этот, последний, стал кричать, что их нечистый попутал, «смутил з розуму».

«Вон твой пацаненок видел! Супротив своей воли в амбар залезли!» – так кричал мужик под плетью, а батькина рука уже тянулась к его, Акимкиной шее.

Мужиков отпустили, а нерадивый сын был порот до потери пульса. После наказания его отнесли в клеть, и там он лежал всю неделю. Только мать могла к нему заходить, да и то когда батьки дома не было.

Он долго молчал молчуном после этой экзекуции, а как спина зажила, словно другим человеком стал. Ему уже не страшно было, когда батька мужиков наказывал. Он сам приходил смотреть, и, сначала со стыдом, а потом – с тайной гордостью, он стал замечать, что эти картины волнуют его кровь.

Он теперь чувствовал себя совсем взрослым.

Однажды весной он видел, как буренка, разрешившись от беремени, закатали лиловый глаз и издохла, высунув изо рта большой бурый язык...

Он потом часто вспоминал эту подышающую корову – во всех ужасных подробностях и красках, как слюна, тягучая и темная, текла изо рта, и как ноги её судорожно дергались на грязном полу хлева.

Где-то за грудиной начинало сладко ныть, а в ногах поднималась приятная истома...

4

Прошло три года после шумного праздника с фейерверками и катаньем на катере по реке. Красавица Франия померла – от живота, Мария поместила ей срисованный с фотокарточки портрет в простенке между окнами и часто смотрела на ставшее незнакомым лицо строгой девушки в городской, бархатной шляпке, сдвинутой на одно ухо и хорошо гармонировавшей с её четким, как на чеканной монете, профилем. Про Франию говорили – «вылитая Катерина». Она и впрямь походила, в свои небольшие ещё годы, статная и фигуристая, больше на знатную панну, чем на сельскую девушку.

Сыны, Федечка и Миколка, белявые и кирпичные, росли ладными мальцами, на здоровье жаловаться грех. А Броня совсем невестой заделалась, хлопцы под окнами вьются, как вечер, тут как тут.

«Глянь, Мария, – говорила соседка Домна, – дачка уся у тябе! Тольки волосы – лен».

Молодая красавица Броня и правда взяла от матери всё – и стать, и руки, тонкие и сильные, с ровными узкими запястьями, и ножка аккуратная, но с высоким подъемом, которой так шел венский каблучок.

Мария, слушая похвалы красе своей дочери, хмурилась и молчала, смутно и тревожно думая – молодая, да ранняя! – и что-то не легкое припоминая из своего далекого теперь уже прошлого. От красы девке больше горя, чем счастья...

Иван неделями пропадал в районе, приезжал усталый, с лицом темным и мрачным. Метнув самовар на стол, Мария садилась на лавку и ждала, когда муж, осушив второй-третий стакан, начнет разговор про то, что «опять нового секретаря прислали», «директора колбасного комбината сняли и хотят отдать под суд», и что Варшава, как столица Польши, больше не существует, польское правительство распалось, и где оно, никто не знает, единокровные братья оставлены на произвол судьбы, польскому послу вручена нота, а Красная Армия перешла границу, так что теперь западники снова будут наши...

Мария, по своей привычке – молча, слушала и думала, что опять ей одной бульбу копать. И торфу надо побольше нарезать, пока погода стоит.

Как-то Иван приехал с района сильно больной, попал под дождь и простудился. Не помогло и чаепитие у самовара – слег и утром на работу не пошел. День лежал молча, а потом попросил Марию принести с чердака мешок с отцовыми книгами и баул, который он из Гомеля когда-то привез.

Там были какие-то исписанные бумаги и книги по искусству, религии и истории. Отец Ивана, тоже Иван, звался в селе поповичем, хотя никогда в церкви не служил.

Само же имя «Иван» он трактовал как местное произношение греческого выражения «святой отец», то есть – «ава ан» или «ава ант», что правильнее было бы перевести, как «античный отец», и получалось уже не имя, а служебная должность. Отцовы книги были читаны-перечитаны, но Ивану нравился сам процесс листания этих старинных книг – занятие успокаивающее, отвлекающее от забот и суеты текущего дня.

В бауле была пачка старых газет – «Гомельская мысль» и «Копейка». Иван имел дело с обеими – писал заметки и делал обзор сельских вестей.

Та жизнь, в Гомеле, вскоре после женитьбы, теперь казалась ему очень далекой и какой-то невзаправдышной, будто и не с ним это было.

Сначала он поселился в огромном доме, где все этажи, кроме нижнего, занимала местная знать средней руки, а в нижнем жили такие, как Иван – те, что прибыли из провинции искать новой жизни.

Комнатенка у него была небольшая, но чистая и светлая, из мебели – только железная кровать с шишечками да стол с табуретом. У двери шкафчик для одежды. Ивану здесь нравилось.

В деревне у них был свой дом. Большой и просторный. Да и семья была не бедной. Но своей комнаты у него не было, как не было её и у родителей Ивана. А он мечтал о своём доме, красивом и торжественном внутри, и простым, похожим на все – снаружи. И много лет спустя он свою мечту осуществит – построит в ветке дом под «серебряной» крышей, с изразцовой печью и двумя спальнями, с чудесной, хоть и небольшой залой для приема родни.

И теперь, когда уже столько лет прошло после его частых поездок в деловой центр и работы там, он, бывая в Гомеле, всегда выкраивал минутку, чтобы навестить тот дом, где впервые жил один, вольно, приходил сюда, чтобы прогуляться по улице, пройти по парку, где стоял замок Паскевича. В библиотеке он брал архивные документы и подолгу рассматривал чертежи старинных построек Паскевича. Замок виделся ему таким живым, как если бы он мог созерцать его в эпоху Екатерины.

Однако сейчас правое крыло некогда прекрасного здания было почти всё разрушено, и среди развалин вороны свили себе гнезда. Иван останавливался, слушая вороний гай, смотрел на башенные часы и пытался представить себе, как здесь было век, и два века назад...

Иван взял в руки номер старой, порыжелой от времени и сырости газеты. Бумага была хрупкой и легко рвалась. Он осторожно распрямил страницу.

...Гомель в 1775 году Екатерина II пожаловала фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому «для увеселения». Именовался он в документе, как «деревенька в 5000 душ в Белоруссии».

Румянцеву местечко понравилось, и он решил здесь укорениться, начал строительство нового поселения недалеко от Гомеля. Туда же перевел и все государственные учреждения. Новый город назвали Белица. Население пригнали из окрестных сел.

В Белицу, на новое место, потекла еврейская беднота. Не было ещё школ, не построили ещё училищ, а вот питейных домов здесь было – на каждом углу по паре. Городской голова и уездный судья – оба были неграмотные.

Так бывший торговый центр, шумный Гомель с пяти тысячным населением, стал рядовым местечком, рядом с архитектурным шедевром своего времени...

Румянцевская усадьба чисто русского устройства. Это был небольшой островок русской культуры в белорусской провинции. А рядом. В двадцати километрах, старообрядческий центр – городок Ветка.

Усадьба была одной из самых богатых, благоустроенных и известных в России. Все её владельцы были в тесной связи с царской фамилией. П.А.Румянцев с Екатериной Второй, Н.П. Румянцев – с Александром Первым, князь Паскевич – с Николаем Первым. После первого раздела Речи Посполитой Восточная Белоруссия перешла к России, а с нею и Гомель.

Закончилась моровая язва. Пойман Пугачев, победили турок – и вот повод для пожалования новых земель новому национальному герою Румянцеву, чья фамилия правильно читалась как Романцев.

Строительство начали летом, в год трех семерок. Через пять лет здание было построено. Потемкин тем временем теснит Румянцева, интерес Румянцева к дареной усадьбе падает, отделка затягивается. Сам же фельдмаршал управляет Малороссией. Вскоре дом приходит в запустение. Так повторяется судьба многих построек екатерининской эпохи: яркое начало, полное помпезности, и затем резкое охлаждение, и вконец – постепенное забвение...

Но не только судьба, но и художественный стиль гомельской постройки, на редкость созвучны духу екатерининского времени. Это и выбор места – прямо посреди бывшей

усадыбы, на месте снесенного деревянного дворца бывшего владельца князя Чарторыйского. Так императрица показывала оппозиции её настоящее место.

Эстетика нового замка была полностью в духе эпохи Просвещения и в точности отвечала устремлениям императрицы – культ новейшей классической архитектуры.

Эта постройка была новым словом в русской архитектуре конца восемнадцатого века. Ею открывался ряд крупных царских резиденций с компактным планом и купольным завершением, прообразом создания которых служила вилла Ротонда Палладио.

Симметрия постройки была основана на простых геометрических формах, не усложненных пристройкой флигелей.

Четкая вертикальная ось давала образ высшей гармонии, принадлежащей идеальному миру, и предназначалась более для созерцания, нежели для повседневной жизни в суете.

Дом, как и положено для домов увеселения, украшался коринфским и ионическим медальонами.

Особо была устроена парадная зала – центр композиции дворца. Ярко освещенная, сверкающая белизной, поражала изяществом отделки и разнообразием пространственных решений. Это было первое в российской архитектуре парадное помещение специально для пребывания дворянства. Потом что-то похожее было сделано в Москве, в Колонном зале Дворянского собрания, но там уже был настоящий дворянский клуб...

Всё здесь в точности повторяло схему интерьера культовой классической постройки и на редкость соответствовало требованиям ритуала общественной жизни дворянства. В зале проходили торжественные приемы, балы. Ярко освещенный центр, предназначенный для дворянства, выгодно выделял героя своего времени. Окружающие затененные помещения предназначались для ожидающей выхода в свет публики – отсюда, наверное, и пошло выражение – выйти в свет, светское общество. Возвышающиеся же вторым ярусом хоры предназначались для оркестра и зрителей. Это праздничное действо дополнялось темой торжественного шествия. Архитектор этого эффекта добился просто – выстроив все внутренние пространства по одной оси.

Портики на фасадах, напоминающие римские триумфальные арки, открывали и завершали действо. Всё здесь говорило о воинской доблести и триумфе.

Но главным в композиционной идее всё же было устройство верхнего освещения главного зала. Свет, льющийся сверху – это знак особой благодати, он призван подчеркивать исключительность находящихся здесь людей. Свет в зал проникал через отверстие в куполе наподобие римского Пантеона. Верхнее освещение в классическом культовом зодчестве решалась устройством двойного купола. Здесь же был сооружен квадратный в плане бельведер. Ещё и этим отличался гомельский дом, в довершение пирамидальной, как бы ступенчатой композиции, что вообще было присуще древнерусскому зодчеству.

Тот, кто строил гомельский замок, хорошо знал архитектуру античного жилого дома, итальянской виллы, культовых построек раннего Возрождения в Тоскане, французского классицизма. От всего здесь было что-то. Гомельский замок можно было бы принять за своеобразный музей всех архитектурных эпох. Это был исторический справочник в архитектурных экспонатах. Но кто же был автор этой сумасшедшей в своей гениальности идеи?

В эпоху «трех семерок», в году 1777-м, в России было не так уж много европейски образованных и классически ориентированных мастеров. Екатерина Вторая ещё только готовила поворот к освоению итальянской манеры в архитектуре. Кварнеги, Камертон, Львов ещё не начинали действовать.

Но вот появляется Иван Старов. (Ивану думалось, что это не фамилия, а прозвище. И означает оно вот что: из Старого Села, или – старOVER, хотя это одно и то же – Старое Село и было когда-то основано староверами.) Он-то, Иван Старов, и создает парадное столичное окружение екатерининского времени. Именно он создал тип царского дворца, строгого и по-

римски простого снаружи, и поражающего великолепием анфилад и парадных интерьеров изнутри. Всё это было в духе русских побед того времени. Много было построено после – и Таврический дворец. И грандиозный дворец в Пелле, жизнь которого оказалась недолгой. Но именно гомельский дом стоял у истоков. Он – прекрасный памятник самому Румянцеву. Герою русско-турецкой войны.

Второй Румянцев владел гомельским замком при Александре, в эпоху всеобщего смягчения нравов и насаждения просвещения. Сам хозяин жил по модной в то время формуле Вольтера – каждый должен возделывать свой сад. Он активно меценатствовал, собирал русские древности и, наконец, основал Румянцевский музей. Вторую половину своей жизни он провел в Гомеле. Он создает здесь совершенно новый город и усадьбу, воплощающую романтический идеал. Он без тени сожаления покинул государеву службу и стал жить в своем имении по своему усмотрению, в труде с народом и для народа. И вот чудесный итог – новый Гомель.

В год первый века последнего в тысячелетии он решительно перепланировал Гомель. С чисто просвещенческим радикализмом он прокладывал новые улицы, строил дома для горожан, используя лучшие образцы мировой архитектуры. Город теперь являл собой идеал военно-аристократического поселения, подобно Петербургу. Сама слово Гомель – от «гомео», «гомо», то есть «малое подобие», а вовсе не «го-го-го! Мель!» – крик на реке Сож, предупреждающий суда об опасности, хотя мелей на Соже близ Гомеля действительно немало...

Но он не забыл и опыт строительства Парижа – неподалеку от Гомеля тоже есть свой «Париж» – местечко Паричи, что означает, вероятно, «поречье», по-белорусски – «парэччэ» или «паричи» в обратном переводе.

В строительстве же собственной резиденции он воссоздал мир небольшого английского жилого дома по принципу «мой дом – моя крепость» и окружил его пейзажным парком.

Так регулярное устройство города смягчилось чертами живописности в устройстве парковой зоны.

Как и в Петербурге, здесь были лучевые улицы, незавершенность общей композиции, и это давало возможность развивать город дальше. Гомель смело можно было именовать юго-западной копией Питера или восточной тенью – Парижа. И даже главная площадь Гомеля – в духе луврско-Тюильрийского ансамбля и площади Людовика Пятнадцатого. Точно такое же устройство на одной оси дворца Румянцева и главной площади Гомеля, установка в её центре обелиска, схожий характер фасадов духовного училища и зданий, окаймляющих с севера площадь Людовика Пятнадцатого, то же замыкание перспектив улиц, идущих от центра, классического вида постройками.

Как и в Париже, центр города – площадь, застроенная ратушей и гостиним двором. Это общественный форум, и сюда как бы вливается всё городское пространство. По соседству находятся культовые постройки, расположенные в строгой иерархии – православный собор, костел, синагога. И теперь уже не дом хозяина – роскошный замок – находится в центре города, он теперь отодвинут в сторону, а городские общественные здания. И самое крупное из них ланкастерская школа, первое в Российской империи подобное заведение, открытое ровно за сто лет до свержения царя. Ею руководил англичанин Джеймс Артур Герд. Здесь же был и лицей по типу Царско-Сельского.

Гомель – Гомо – эль – «город, подобный элю», то есть, богу. Гомель, как и Париж, как и Петербург – эллинские города?

Гомо-сапиенс – подобный мыслящему? Подобный – кому? Богу! Человек – образ и подобие Бога – только самостоятельно мысляще. А Бог – не мыслит? Бог – знает! Мыслящий – не знает, но ищет. Чтобы знать.

Петропавловский Собор на крутом берегу Сожа, слева от усадьбы, похож на церковь св. Женевьевы в Париже, костел – римский Пантеон.

Сын Румянцева не стал обживать роскошный дом своего отца. Добавив к нему два флигеля весьма скромной архитектуры, он отвел его для размещения гостей и специалистов. Собственную же усадьбу он устроил вдали от площади, в самой бровки реки Сож. Она находилась на границе регулярного города и роскошного природного окружения. Это был «экономический дом», точная копия жилого дома в Бедфордшире, построенном в 1795 году. И рядом – миниатюрный ампир, небольшой охотничий домик.

В Гомеле работало много иностранцев, но больше всего – англичан.

Румянцев очень дорожил своим детищем и завещал продать его только фельдмаршалу или канцлеру. Похоронить же себя завещал в Петропавловском соборе, где при коммунистах был открыт музей и висел маятник Фуко.

После смерти хозяина его сын заложил Гомель со всеми околицами в государственный банк, а потом и вовсе продал казне.

Фельдмаршал Паскевич Варшавский, тот самый, что люто подавил польское восстание в 1830-м году, тут же перекупил город. Паскевичу пришлось по душе постройки Румянцева старшего. Но он дополнил строение парадными покоем для размещения военных трофеев. Теперь это был воистину царский дворец. Он и был царским наместником в Польше. Покои князя находились в башне. Классический стиль осторожно дополнялся средневековыми мотивами, особенно в декоре самой башни. Это подчеркивало древность и знатность рода Паскевичей. И дом стал похож на замечательный дворец Станислава-Августа в Лазенках. Так польского короля уравнивали с царским наместником.

Суховатый классический стиль – но это не от упадка, просто так экономично.

Однако совсем иной была городская застройка. Устройство ограды и высокой зелени вдоль неё ликвидировало все связи с городским ансамблем. Усадебный комплекс как бы самоизолировался, акцент вновь перенесен на дом владельца.

А потом настал прозаический, упрощенный 19-й век, с его приземленными образцами практического стиля. Так родился и угас классицизм в гомельском устройстве города и усадьбы, как родилась и угасла и сама эпоха Просвещения.

Но почему же столь масштабный замысел был реализован именно здесь, в архитектурных ансамблях Гомеля? Здесь есть какая-то тайна...

Александр хранил вариант конституции в Варшаве, говоря, что именно поляки будут учить русских свободам.

Ещё при Румянцеве в старом парке был выстроен дворец по плану архитектора Растрелли. В этом дворце, по слухам, императрица гостевала в графа, и после этого гостевания осталось вроде дитя, которое было втихую сплавлено с глаз долой, но – в надежные руки.

Однако это были слухи, и не более того. Никаких документов на сей счет составлено не было.

Паскевич заново перестроил дворец с невиданной в этих краях роскошью и размахом. Замок теперь окружали павильоны, беседки, причудливые фонтаны. По всему парку расположились мраморные статуи, повсюду были цветники и оранжереи. Через глубокий овраг перекинулся железный мост.

Перед замком торжественно установили бронзовую статую – племянник польского короля Понятовский на коне.

В парке теперь было электричество, а город, простиравшийся на несколько верст за пределами усадьбы, утопал в грязи и мраке...

Иван, живя в Гомеле, выходил из дому за час до начала службы, чтобы прогуляться в парке. Вечером и днем здесь был народ, шумно илюдно, а в утренние часы – ни души.

Мысли в Ивановой голове роились самые разные. Ему хотелось бурной деятельности. Вести колонку обозревателя в своей газете уже казалось слишком мелким, почти ничтожным делом. Уже работая в редакции, он пристрастился ходить в публичную библиотеку. Была она в левом крыле замка. Заведовал книжным отделом старенький дедок из бывших (некогда богач, потом разорился и стал эс-деком), в золотом пенсне, фамилия его была Степанов. Иван брал и политическую литературу, её тут давали свободно.

Приезжая изредка в Ветку или Старое Село, он видел совсем иную жизнь. Пробыв недолго с женой, он поспешал назад, в город. Мария была старше Ивана, на сколько точно, никто не знал – метрику ей выправили, когда она уже была девкой, впрочем, на селе такие браки считались делом обычным. Он её немного побаивался, хотя Мария никогда не поднимала голоса на мужа, не перечила и вообще была тихой, покладистой женой.

Однако эсдеком, несмотря на горы прочитанной агитационной и политической литературы, Иван всё же не стал.

Первые социал-демократы появились в Гомеле в 1903-м году, а в 17-м уже действовал Полесский комитет по установлению Советской власти. Из центра был прислан Лазарь Каганович – он и был главным.

9 сентября приняли резолюцию об отношении к войне, меньшевик Севрюк был отстранен. Прошло две недели, и меньшевики добились нового решения о продолжении войны, только после петроградских событий вся политическая власть перешла к большевикам.

В тот же вечер созвали экстренное заседание Гомельского Совета – меньшевики и бундовцы объявили единственной политической властью «Комитет спасения родины и революции». И только в ноябре Ставка в Могилеве была разгромлена, власть вернулась в Гомель, к Советам.

Продержались Советы всего одну зиму – 1 марта 1918 года немцы заняли город. Партийцы ушли в подполье.

...Обложившись газетами, Иван словно погрузился в тяжелую дрему. Он лежал и ничего вокруг себя не замечал, мыслями уносясь в далекое прошлое.

Мария сидела рядом, сбивая масло на маслобойке – в неделю на базар снести.

Ей вспомнилась почему-то ту далекую детскую пору, когда пешком из Старого Села ходила с матерью в город – отнести передачу в трудовой дом. Там в заключении томились какие-то «братья», так сказала Василиса. Очередь занимали с вечера. Потому что передачи брали ровно час, а хвост очереди тянулся до другой улицы...

Уже и ком масла, желтый и пахучий, выкатила Мария в большую эмалированную миску, и отгон слила в кринки – скотине на поило и самим на блины, а Иван всё лежал да лежал на постели, прижимая к себе ворох жухлых газет, и не ясно было, спит ли он, или просто задумался о своём, а глаза открывать ему лень...

Мария тихо вышла в сени, погрукотала там ведрами воды мало, но утра хватит, потом вышла закрыть ставни. Вернувшись в дом, подкрутила фитиль в лампе и отправилась спать, завтра вставать на зорьке. Но беспокоить Ивана так и не решилась. Ему спешить некуда, днем отоспится – «хвароба у теле – яки работник?»

...Студент дает уроки от двух до четырех по улице Кладбищенской, дом номер 7...

Шел тринадцатый год. Всё дорожало на глазах. Иван тогда учился на экономиста, дополнительный приработок ему не помешал бы. Решил брать учеников.

Иван сменил жильё. Он ушел из большого, богатого дома, где в средних этажах ютилась, теснясь в доходных комнатенках, пестрая беднота, и поселился с шиком, невиданным для студента, на Кладбищенской, сняв пол дома с палисадником и отдельным входом.

Расходы его возросли. Он по-прежнему работал в газете, сидел поздно, часто заполночь, готовя ежедневные обзоры внутренней жизни для первой страницы. Ещё он вел историко-краеведческую рубрику, но материал для неё брали раз в неделю. Однако этого зара-

ботка всё же не хватало. Надо было и в семью деньги давать, и себя содержать достойно. Он ведь теперь вращался.

И народ, среди которого он вращался, был весь достойный.

Тринадцатый год был совсем не тем, что год отошедший. Работавшие на всю катушку местные исполнительные органы и вяло топтавшиеся на месте новые законодательные учреждения создавали, вообще говоря, лишь видимость деятельной власти, и единственным настоящим полем деятельности была именно нива просвещения. Уже на первых порах новая просвещенческая власть изъяла из владения земских учреждений принадлежавшие им библиотеки. Потом в несколько месяцев перевели всех профессоров из одного города в другой, замещая кафедры людьми малоизвестными, но обязательно благонадежными.

Всё четче обозначивались баррикады, по обе стороны которых собирались представители двух противоположных мировоззрений, не могущих никак между собой примириться, да и вообще не должных, если следовать логике текущих событий...

В тот год также вышло наделавшее много шума постановление о борьбе с хулиганством, и это дало администрации широкие полномочия в области карательной. Вопрос о хулиганстве быстро вырос в крупную политическую величину, на которой полностью сосредоточилось внимание особенно дворянского сословия. Обыватели говорили о хулиганах с тем же ужасом и трепетом, что и о бандитах и бомбистах.

Общество жило в постоянном ожидании всевозможных катастроф. И они случались – одна за другой, произошли два крушения на железной дороге. И это стало прелюдией к переговорам о железнодорожном займе, по поводу которого министр Коковцев выехал в Европу. В отсутствие Коковцева спешно ликвидировали наследство зимней сессии Государственной Думы – разрыв между министрами и Думой состоялся.

Между самими министрами несогласованность сохранялась, и об этом шумели за границей.

Год был богат на всевозможные съезды – их состоялось более ста.

Но и за границей жизнь не стояла на месте. Балканы приковывали к себе всеобщее внимание. Ближний Восток с его вечным горючим материалом беспокоил великие державы, ожидающие турецкого наследства, и к этому беспокойству прибавилось ещё нечто – явный антагонизм России и Австрии.

Австрия была спокойна лишь до тех пор. Пока была уверена в победе турок над союзниками.

Хотя все и понимали, что положение тяжело именно потому, что иностранный экспорт малых государств – хлеб, скот, вино – имеют только одну дорогу: через австрийские владения, всё же по произволу Австрии граница закрывалась для Сербского вывоза, и малой славянское государство, единственное православное – в центре Европы, превратилось в послушное орудие могущественной соседки. Австрия опять победила, а в Думе всё ещё звучало эхо известного – «Россия не готова к войне»...

Маленькая Сербия вполне понимала, чего хочет ненасытная Австрия – поглотить её, как уже поглотила Хорватию, Боснию, Герцеговину, – и оказалась между двух огней: с севера Австрия, а с юга – Болгария.

Болгария просто спятила – она готова была на всё, даже на поддержку союза Австрии с Турцией, лишь бы навредить Сербии. Выгодно это было одному из двух царствующих дворов в Белграде и Софии, но губительно для их народов. А вот уничтожит ли это «личный режим» – большой вопрос.

Но пока что надменный Фердинанд оказался в положении кающегося грешника.

В прежние времена монарх при открытии Народного собрания разыгрывал сцену, режущую глаз современного просвещенного человека. Он входил в Собрание, где было полно депутатов и простой публики, держа в руке шляпу, и направлялся к трону, на ступень-

ках которого располагались министры, а затем, надев на голову шляпу, начинал читать тронную речь, а присутствующие оставались с непокрытыми головами.

Теперь всё было иначе. Среди депутатов имелись несколько десятков социалистов и компактно сбитая масса оппозиционных землевладельцев, и царь Фердинанд после долгих колебаний уступил – во время чтения тронной речи он больше не надевал шляпы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.